

Яков Ланда

ИСПОВЕДЬ КОНФОРМИСТА

ИЛИ АНКЕТА, ЗАПОЛНЕННАЯ В КГБ

Посвящается Людмиле

Когда-то в юности еще услышал я, как выразился поэт, шелест крыл своей судьбы. По правде говоря, я не особо к нему тогда прислушался. Да и немудрено. Понятно, что на впечатлительного школьника, впервые раскрывшего тогда «ЦОО, или письма не о любви» Шкловского, подействовали темперамент и афористичность гения и парадоксов друга. Но какое отношение ко мне самому могла иметь эта история? Эмиграция... Берлин... Германия... Последние два слова ассоциировались только с минувшей войной. Первое стояло в ряду таких анахронизмов, как «учредительное собрание» или «нэп». Ни о какой эмиграции куда-либо никто из обозримого для меня круга людей тогда и не помышлял. А уж «эмиграция в Германию» звучало бы как «полет на Солнце». Помню анекдот. Космонавтов вызывают в Политбюро:

- Принято решение. Летите на Солнце.
- ???
- Успокойтесь, здесь не дураки сидят. Ночью полетите...

Но я и ночью, в самых фантастических сновидениях, не смог бы увидеть себя эмигрантом, притом - в Германии.

Тем не менее, какой-то внутренний голос отчетливо поведал мне, что когда-нибудь я буду писать книгу, состоящую из писем, написанных в эмиграции. Я редко вспоминал о посетившем меня пророчестве, не будучи уже вполне уверен, что все это не пригрзилось.

Четверть века спустя я оказался в эмиграции. В Германии. Теперь надо было быть последовательным и приняться за письма. Но вот прошел показавшийся послеоперационным периодом первый год, потом - еще полгода. Говорят: эмиграция - операция без наркоза. Пусть даже с наркозом, тем дольше приходишь в себя.

Однажды я оказался на практике в большой немецкой фирме. Фирма все еще пыталась возобновить торговлю с тем, что осталось от страны, где я родился. С клавиатуры предоставленного в мое распоряжение компьютера успокаивающе подмигнули кириллицы знаки. Текстовый редактор был мне незнаком, и я наивно обратился с вопросами к коллегам. Вместо ответов мне вручили два размером с «Сагу о Форсайтах» тома с краткой на здешний манер инструкцией пользователю. Увлекательному этому чтению я предпочел испытанный метод «тыка», сумрачному германскому гению, судя по реакции на возврат книг, совершенно неведомый. В КГБ - так местные остряки прозвали комнату, где изготовлялась и хранилась документация на русском языке, - я был один. Работы в первый день не было никакой, и я принялся набирать что-то бессвязное, просто осваивая клавиатуру. Пробующий перо обычно повторяет собственную подпись. Я стал печатать свои фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность - ответы на знакомые вопросы любой из тысячи заполненных некогда анкет. Впрочем, ответы ли это? Ведь ответ можно выбрать, а эти, кажется, сами некогда выбрали нас. Поздно вечером в опустевшем здании я выключил компьютер и не решился выбросить напечатанное. Год спустя страницы эти снова попались на глаза. И я вспомнил об одной особенности той неожиданной исповеди. Метод тыка все же не всесилен, и я поначалу не умел корректировать напечатанное, будучи властен лишь над текущей строкой. Так и продолжал, не в силах расстаться с затронутой темой, воспоминанием, остро ощущая необратимость высказанного. Вот это неожиданно осознанное сходство повествования с его предметом, нескладной моей жизнью, в которой ничего уже не переписать, не позволило забросить текст еще на год. Будет ли это кому-нибудь интересно? Хотя тут как раз ответ прост: никто ведь и не обязан это читать.

Фамилия

С фамилией мне не повезло. Среди долгих и мелодичных украинских «призвищ» соучеников моя на любой переключке звучала как бокал, разбитый неловким движением среди чинного застолья. Вероятно, это был первый шаг к моей грядущей маргинальности. Позже начитанные одноклассники недобро поминали моего легендарного однофамильца, испанца, уничтожившего бесценные рукописи майя. На физическом факультете университета моя фамилия служила объектом однообразных острот ввиду сходства с фамилией знаменитого академика, кумира шестидесятых, освятившего некогда наш факультет недолгим, но запомнившимся (он завалил на экзамене весь курс) пребыванием. Насмешники не замедлили учесть и разницу, прозвав меня обезуленным Ландау. Никаких особых способностей к точным наукам я не проявил, вероятно, как раз ввиду отмеченного различия. Надо заметить, впрочем, что и полное совпадение фамилий - моей и скандально известной тогда право защитницы - ощутимых выгод мне не принесло. «Нет, не родственник», - терпеливо отвечал я. Однажды в каталоге столичной библиотеки наткнулся на длиннющий список своих однофамильцев и окончательно утратил с детства привычное ощущение какой-то osobости своей фамилии. Одно из нее несомненно следовало: мои далекие предки пришли в черту оседлости Российского государства все-таки из Испании, по пути побывав и в Германии. Кажется, я проделал уже половину обратного пути. О таинственном влиянии фамилии на судьбу ее обладателя написано много. Что еще принесет мне моя? Сегодня могу с удовлетворением констатировать лишь: я не сжег ничьих рукописей. И уже за одно это, безусловно, заслуживаю снисхождения.

Имя

Несколько старомодное - сверстники звались Игорями или хотя бы Толиками - имя досталось мне от деда, маминого отца. Я видел его только на плохо сохранившейся фотографии. У деда было молодое печальное лицо местечкового книгочея. Зрачки глаз были закрашены чернилами - вне сомнения, моих же шкодливых рук дело. По рассказам мамы, дед обладал совсем никудышным зрением, что, впрочем, не помешало ему в сорок первом быть призванным в ополчение, где он и погиб под Одессой, вероятно, в первом же бою. Точнее, пропал без вести, как лаконично сообщалось в извещении, которое бабушка всю жизнь хранила в старом черном ридикюле вместе с какими-то довоенными справками, грамотами и связками столь же бесполезных облигаций многочисленных займов.

Вероятно, дед передал мне и какие-то черты своего характера. О некоторых я догадываюсь. Первой была ранняя всепоглощающая страсть к чтению. Я просто не помню себя неумеющим читать. Чтобы мне не мешали, я часто забирался под стол, где часами, мучительно напрягая зрение, читал все, что

попадалось под руку: от потрясавших воображение книг по древней истории, принадлежавших отцу, и старых маминых медицинских учебников с неприличными, как мне казалось, иллюстрациями до газет. Последние дополняли обычный для ребенка моих лет ряд сказочных злодеев (Бармалей, Тараканище и т.д.) такими загадочными персонажами, как Дядя Сэм или Тито и Его Клика. Каким-то образом я ухитрился не испортить себе при этом зрение.

Эта наследственная черта снискала мне славу вундеркинда, начавшую уже выходить за пределы узкого круга соседей и родственников. Когда мама приводила меня в парикмахерскую сделать «чубчик» - омерзительную прическу, состоящую из крохотной пряди волос на лбу при наголо остриженной голове, мне протягивали захватанную пальцами многочисленных посетителей газету и просили прочесть что-нибудь вслух. После чего узловатый от многолетнего соприкосновения с ножницами палец уважительно поднимался вверх: этот мальчик далеко пойдет! Однако я стремительно вырос, что пропорционально снижало впечатление от этих показательных выступлений, а первые и совершенно закономерные школьные неудачи окончательно лишили меня ненужного ореола.

Парикмахерская была в городе чем-то вроде литературно-политического салона. Помимо в изобилии имевшихся газет и беспощадных к стилистам и империалистам сатирических журналов там ни на миг не умолкало радио. Многочасовые доклады нового лидера чередовались с концертами по заявкам и инсценировками пьес Погодина и Корнейчука. При том, что руки мастеров были вечно заняты и порхали над головами разомлевших от духоты клиентов, рты их не замолкали ни на минуту. В равной степени живо обсуждались международное положение и шансы на замужество Риточки из второй смены, тайна нашествия колорадского жука и не успевшая еще остыть острота Тарапуньки и Штепселя из последней трансляции. Тут были свои авторитеты и почтительно внимавшие слушатели, тут аргументами в споре неожиданно становились личные выпады. Здесь не оставял никаких сомнений национальный состав персонала, при том что обязательно находилась одна голубоглазая и светловолосая украинка, подозрительно звавшаяся, впрочем, Розой. Здесь на стенах висели фотографические портреты членов руководства страны, и руководители пристально глядели друг на друга из многочисленных зеркал, образуя как бы молчаливое заседание. Кажется, там под руководством Хрущева собралась вся разогнанная им вскоре компания, включая «и примкнувшего к ним Шепилова». Сюда иногда заходил - не подстричься, а просто поговорить - сам Жевахин, пенсионер-бухгалтер, поражавший воображение публики необъятными эрудицией и апломбом: он знал, к примеру, и бесчисленное число раз рассказывал несколько анекдотов из адвокатской практики Плевако. Вот он приближается к финалу одной из историй, распаясь под сфокусированными на нем взглядами. В руках замерших мастеров застыли лезвия бритв, занесенные над намыленными физиономиями клиентов. Затаила дыхание очередь. Наконец отставной бухгалтер в образе легендарного адвоката раздражался финальной фразой и мастерски выдерживал длинную паузу на зависть знаменитым мхатовским старикам, которые как раз завершали очередную радиопьесу, где деловитые ремарки «входит Дзержинский» перемежались раскатами заразительного хохота и любовно воспроизводимой картавинкой, а тревожные позывные революционных маршей - аккордами бетховенской сонаты.

- И что ты хочешь сказать? Что того оправдали? - спрашивал, не выдержав, самый нетерпеливый из слушателей.

- Немедленно! - торжествовал рассказчик.

- Миша, ты слышал, что делается, тебе такое не снилось! - звучало в аудитории, впавшей в глубокий катарсис.

И Миша, которому в его бурной жизни действительно перепали лишь крохи подобного великодушия, только шумно вздыхал, обновляя успевшую уже высохнуть мыльную пену на щеках терпеливого клиента.

Теперь я понимаю, почему эти незатейливые байки неизменно пользовались успехом: поражало не столько остроумие адвоката, сколько сама возможность выиграть процесс с помощью одной лишь риторики, опираясь на закон, презумпцию невиновности и прочие загадочные вещи. Жизнь слушателей почти целиком уместилась внутри славной эпохи революционной законности, и гримасы буржуазного права были им в диковинку. Их судьбы споро и без затей решал какой-нибудь сержант НКВД, а присяжных заседателей они, очевидно, считали судебными чиновниками, искренне полагая, что судьбы эти - всегда в руках неумолимого государства. И счастливые исходы тех судов были для них чем-то вроде утешительных хэппи эндов многочисленных устных преданий, в которых реализовывалась извечная мечта о справедливости, милосердии и проглядывала затаенная ненависть к «самому гуманному суду в мире». Таковым было сказочное «и вдруг вызывает его Сталин прямо из тюрьмы...». Но я отвлекся.

Вторая наследственная черта, безусловно переданная мне дедом, - безмерная уступчивость. В молодости энергичная моя бабушка подавляла деда, несмотря на очевидное интеллектуальное его превосходство. Дед вообще был не боец и всегда довольствовался скромной ролью канцеляриста.

Вероятно, ему я обязан тем, что в нашей семье все разновидности власти: законодательную, исполнительную и судебную - олицетворяет моя жена. Роль четвертой - независимо всех критикующей прессы - взяла на себя осмелевшая с возрастом дочь. На мою долю выпали лишь роль главы теневого кабинета да несчастные попытки захвата власти, умело подавляемые ласковой, но твердой рукой.

Что досталось мне в наследство от деда со стороны отца - не знаю. От него даже фотографии не осталось. Впрочем, я ошибся. От этого деда мне, как ни странно, досталось отчество. Но об этом - в следующей графе.

Отчество

Отчество, разумеется, от отца. Но и от деда тоже. Отца моего все называли Израилем Семеновичем. Настоящее же его имя - Сруль - было настолько же ближе к истинному названию исторической родины - Срол, что, собственно, и означает Израиль, насколько далеко от благозвучия в нашем отечестве нынешнем. Тем более для школьного учителя. Хорошо понимая, что такое отчество вряд ли облегчит предстоящую мне жизнь, отец успел сменить имя перед самым моим поступлением в школу. Не мудрствуя лукаво, он выбрал себе имя своего отца, слегка подправив его на русский манер. Справедливости ради отмечу, что предназначенную мне долю лиха в полном соответствии с словницей, напоминавшей, что бьют-то не по паспорту, я все-таки хлебнул сполна. Но не сомневаюсь: было б еще хуже. В сущности этот шаг, требовавший тогда известного мужества (вызов в «органы», отпечатки пальцев и т. д.), был единственным вмешательством отца в мою беспечную и безалаберную жизнь: изредка, разъяренный школьными моими безобразиями, он пытался все же призвать меня к порядку, но каждый раз лишь с горечью прогнозировал: ничего путного из этого лентяя не выйдет. Сам отец был занят с утра до поздней ночи. Преподавая историю в вечерней школе для взрослых, он все свободное время отдавал работе над диссертацией. В единственной комнате тесной нашей квартиры высились стопки исписанных неразборчивым отцовским почерком бумаг, и прикасаться к ним запрещалось, как и к старенькому «ундервуду», под привычный стук которого я засыпал на кухне, служившей мне спальней и комнатой для занятий. Жизнь отца фанатически безраздельно была подчинена этому занятию, которое не прерывалось ни в выходные дни, ни в каникулы, требовало поездок в города, где хранились архивные материалы, иссушало силы и в итоге привело его к тяжелому душевному заболеванию.

Вся многочисленная семья отца - родители и девять братьев и сестер - бесследно сгинула в войну. В родное местечко на западе Украины он после демобилизации не поехал: там не осталось даже могил. Много лет спустя в этих краях мне рассказывали: спасаясь от расстрелов, обитатели еврейских местечек прятались в лесополосах вдоль пыльных степных дорог. Но автоматчики объезжали окрестности и, не жалея патронов, обильно поливали огнем зелень нешироких зарослей. Старшие братья погибли на фронте. Возможно, кто-то и остался в живых. Попыток разыскать их отец не предпринимал, то ли считая это безнадежным, то ли по другой причине. Возможно, он утратил связь с семьей еще в тридцатые годы, когда уехал в Одессу учиться в университете. О детстве своем он рассказывал скупно. В памяти моей сохранились его воспоминания о беспощадной учительской линейке в хедере, о дико жестокой сцене самосуда над пойманными с поличным конокрадами да несколько эпизодов из борьбы с кулачеством, участием в которой он искренне гордился. После окончания университета отца призвали в армию. Против ожиданий - ведь он окончил исторический факультет - он не стал политработником, а был направлен в школу морских офицеров. Воскресным утром 22 июня 1941 года выпускников построили на плацу. Предстоял поход в оперу...

В начале войны отец служил в Мурманском морском порту. Порт бомбили. При бомбежке загорелся один из складов, что, по мнению начальства, явилось следствием проявленной отцом преступной халатности. Трибунал стал для него катастрофой, которая уже тогда оставила глубокую рану в его душе. По странной прихоти судьбы ни в штрафных войсках, ни позже он не получил ни единой царапины, хотя побывал в порядочных переделках, о чем свидетельствовали награды, служившие непременным атрибутом моих детских игр. Помню холодный блеск медали «За отвагу» и фальшивую позолоту каких-то других, украшенных профилем вождя.

Вот отец увлеченно читает покорно изображающей крайнюю степень заинтересованности маме наиболее удачный, по его мнению, пассаж из своей статьи. А вот взволнованно представляет в лицах свой недавний диалог с одним из городских партийных начальников:

- А я ему говорю: «Вы прочтите вчерашнюю «Правду»! Там сказано, что вы все у нас, фронтовиков, в неоплатном долгу!»

- Боже, ты ему так и сказал? - пугалась мама.

- Это я ТЕБЕ говорю... - нехотя успокаивал ее отец.

То, чем он занимался в маленьком городке, не имея связей в научных кругах, без малейшей поддержки, вызывая зависть коллег и раздражение начальства, было подвижничеством и делало его одной из характерных для провинциальной жизни пятидесятых фигур: то ли городской достопримечательностью, то ли городским сумасшедшим. Кончилось все это трагически: перед самой защитой диссертации обострилась тлевшая всегда болезнь. И последующие четверть века отец прожил и впрямь городским сумасшедшим, к злорадству одних и печали других, испытывая нестерпимые мучения в периоды ухудшений и горечь несбывшихся надежд во время редких улучшений.

Он был неутомимым и наивным просветителем: проводил у нас во дворе лекции о «международном положении», горячо убеждал множество недоучившихся из-за войны парней, ставших уже отцами семейств, поступить в вечернюю школу, а затем и в филиал института, открытый в нашем городе не в последнюю очередь благодаря его стараниям. И каждый раз с изумлением убеждался: плоды его энтузиазма бессовестно пожинаясь именно теми, кто высмеивал этот энтузиазм у него за спиной. Не было и речи о приглашении на работу в институт. На ежегодных совещаниях учителей кто-то из отцов города обязательно упоминал с иронией о вечном соискателе ученой степени. Однажды, зайдя в парадный зал официального здания, я увидел среди других экспонатов историю нашего города, написанную отцом к его трехсотлетию. Верхняя часть обложки с указанием имени автора была аккуратно отрезана... Начальство его не любило. Потому, думаю, что, действительно свято веря во все то, о чем твердила официальная пропаганда, он был вечным упреком их собственному лицемерию и равнодушию. Много лет спустя я перечитал его статьи. Все они строились на основе неоспоримых, как ему казалось, свидетельств: газетных материалов тридцатых годов, решений съездов и пленумов. Впрочем, могло ли быть иначе?

Последние четверть века мы почти уже не общались друг с другом. А раньше? Я был еще мальчишкой, он вечно занят. Так и не поговорили. Однажды, впервые за много лет, я увидел его во сне. Он стоял, обернувшись ко мне, открывая какую-то дверь. Тогда мне показалось, что это дверь шкафа, но внутри было странно темно. Он выглядел совсем не больным и что-то говорил мне. Разбудил меня звонок почтальона. Пришла телеграмма, и я сразу понял, что в ней.

Что он хотел мне сказать? Быть может, предостеречь? Я не берусь судить его. Мы не были по-настоящему близки, я лишь догадываюсь о многом. Он обладал множеством недостатков - я унаследовал большинство из них. Он разделил множество иллюзий своего времени — и я был от них не свободен. Много лет я считал его самого виноватым во всех его несчастьях. Теперь я думаю иначе. Я думаю о страшной власти времени над человеком. О его скоротечности. Вот у меня самого уже взрослая дочь. И я порой спохватываюсь: так и не поговорили. Вечно мешает что-то, или находятся дела поважнее. Надо бы успеть до того, как самому придется когда-нибудь отворить эту дверь.

Место рождения

Уже самый первый факт моей биографии часто ставил меня в ложное положение. Раскрыв мой паспорт или заглянув в анкету, официальное лицо обязательно усмехалось понимающе или притворно хмурилось:

- Одессит, значит?..

Новые знакомые тоже проявляли повышенный интерес к этому факту. И почему-то казалось, что от меня требуется немедленное предъявление всего набора якобы непременно присущих одесситу качеств. Я покорно изображал в лице нечто одесское и угощал каким-нибудь с бородой одессизмом - о тамошних преимуществах, «которых не обладают других городов». Увы, из общепризнанных атрибутов одессита я мог предъявить лишь соответствующую запись в пятой графе. Чувство юмора если и имелось, то проявлялось чаще всего как-то не к месту. Хитрым же и оборотистым я и вовсе не был. То есть себе-то самому я казался весьма дипломатичным и изворотливым, но... Справедливости ради замечу, что в итоге собеседника я не разочаровывал. По крайней мере ввиду несколько чрезмерной даже живости мимики и жеста... Принять меня за уроженца северного края было бы еще труднее.

Я бы покривил душой, утверждая, что был равнодушен к званию одессита. Если о женщинах Одессы пелось, что они «все скромны, все - поэтессы, все умны, а в крайнем случае - красивы», то мужчинам-одесситам полагалось врожденное чувство юмора сочетать с учтивостью по отношению к дамам, а широту характера - с практической сметкой. Вообще на жителях города, которому явно не пошли на пользу революции и войны, а советская власть — тем более, как бы лежал благородный отсвет его былого великолепия. Многие из них все еще продолжали считать свой город вторым окном в Европу, а

себя - гражданами мира. Возможно, отчасти и небезосновательно. Я же, если и не настаивал на своем почетном происхождении, то - как бы помягче выразиться - и не протестовал.

Я в самом деле родился в Одессе. Но вскоре мама окончила медицинский институт, и семья наша переехала в провинциальный - впрочем, не без претензий - городок, где я и вырос. От Одессы остались лишь семейные воспоминания: об окне с видом на море, о подоконнике, где я лежал, завернутый в одеяло, в специально приспособленном для этого экс-корыте и тарачил в голубые дали уже тогда нахальные шоколадные глаза.

Конечно, в Одессу мы потом приезжали часто. Одесса олицетворялась для меня тетей, у которой мы гостили, приветливой и доброй, сохранившей черты небывалой, но, увы, уже бывлой красоты. Тетя угощала меня необыкновенно вкусными конфетами из роскошной коробки, включала бывший еще в диковинку телевизор с большой водяной линзой перед маленьким экраном. Мама и тетя горячо, хотя и беззлобно, обсуждали многочисленных родственников. В высоченную комнату с лепным потолком явственно пробивался неистребимый в одесских коммуналках запах сырости и плохо действующей канализации. На лестничной площадке поминутно лязгала дверь лифта. За окнами звенели трамваи, светились огни большого города. Все это было праздником, увы, неизбежно вскоре кончившимся. Мы уезжали, тетя оставалась в Одессе, а мама моя, хоть и прожила там много лет, одесситкой не казалась, олицетворяя скорее наш привычный и уютный городок с прекрасными пыльными улочками, которые сбегались к реке и во время дождя превращались в русла мутных пузырящихся потоков. Здесь цвели акации, сирень и чертополох, из дворов тянуло сладким дымом костров, на которых варили вишневое варенье, пахло тинной у заминированного коровьими лепешками берега реки. И еще чем-то пахло, невыразимо знакомым, но забытым уже. Так что «Одесса-мама» - для меня скорее тетя.

Иногда во время утренних прогулок по Приморскому бульвару, о котором даже не бывавшим в Одессе было известно из песни, что он «весь в цвету», мама уводила меня за руку от пугающей головы Пушкина и совсем не страшной трофейной пушки, мимо длинных скамеек, где многочисленные курортники сварливо воспитывали своих деловито расправлявшихся с мороженым чад, мимо прославленной лестницы и бронзового Дюка... О Ддже острили: он вышел к порту с телеграммой в руках встречать приехавших родственников и, увидев, сколько их, окаменел. Созвучной этому была старинная шутка: чтоб вам - ремонт и гости летом, воспринимавшаяся как намек. Впрочем, летом мы жили не у родственников, а снимали комнатку где-нибудь на десятой станции, недалеко от моря... Море - вот что было главным там, на бульваре, придавая ему своим дыханием неизъяснимое очарование и всегдашнюю новизну, вот от чего не оторвать было глаз. Сердце сжималось от внезапно звучавших «одесских курантов» - аккордов ставшей гимном города песни из известной оперетты. Ветер разносил водяную пыль от вызывавших преувеличенную панику поливальных машин. А мама, заслоняя рукой от слепящего утреннего солнца, показывала куда-то вниз:

- Вон там, видишь, где лестница, там Приморская улица. И наш дом. Там ты родился.

Я ничего не мог разглядеть. Но название улицы, как бы филиала знаменитого бульвара, символа города, внушало чувство сопричастности к окружавшему нас великолепию. В конце концов, я ведь действительно здесь родился.

Помимо Приморского бульвара гордостью города был еще оперный театр, «самый большой и красивый в Европе», как произносили привычной скороговоркой одесситы, деловито уточняя: «если не считать того, что в Париже». Это уточнение, с одной стороны, добавляло к лестной характеристике якобы сухой достоверности, а с другой - подчеркивало объективность и осведомленность самого говорящего.

Театр был темой многих рассказов мамы о предвоенных годах ее юности. Поход к нему предстоящим летом был оговорен еще зимой, и в моем бурном воображении этот воздушный замок перестраивался столько раз, что к приезду в Одессу приобрел совсем уже сказочные черты. По дороге к театру я изнывал от нетерпения и, показывая маме на попадавшиеся навстречу и после неказистых строений нашего города казавшиеся мне дворцами дома, восклицал:

- Это -театр!
- Да нет же, - смеялась мама.
- Вот этот?
- Потерпи, сейчас угидишь.

И, наконец, я увидел. И одновременно с несказанной радостью встречи с тем, что возникло передо мной в зелени роскошных клумб и причудливо изогнутых деревьев, впервые в жизни пережил не раз отдававшееся впоследствии знакомой болью разочарование: вожделенный замок оказался грандиозным, но реальным, а не сказочным. И в эту реальность предстоит влюбиться, но вначале с сожалением расстаешься с тем, что создало воображение. Чувство это, возможно из-за затянувшейся инфантильности, не покидает меня и теперь, на Монмартре и набережных Темзы, в виду дымных

громад Кельна и на неправдоподобно нарядных площадях старинных германских городов. Но я опять отвлекся. Вечером меня повели в оперу, и, несколько ошеломленный видом пышной черноволосой солистки, чье багровое от натуги лицо странно гармонировало с пурпурным одеянием, я убедился: изнутри театр был так же прекрасен, как и снаружи. Все-таки знатоки были неправы: парижский ничем не лучше.

А наш дом на Приморской - я все собирался отыскать этот дом. Меня почему-то тянуло посмотреть на море из того самого окна. Не знаю зачем. Быть может, мне не давало покоя что-то, увиденное некогда там, вдали, с того самого подоконника? Но каждый раз что-то отвлекало. То море, о котором, проснувшись, вспоминал, как о ежедневном празднике, в чьих волнах - холодных до судорог вначале, но уже вскоре восхитительно ласковых и лишь дружелюбно подталкивающих в плечо - плескался с утра до вечера и полного изнеможения. То Буссенар и Мопассан из небогатой домашней библиотеки наших хозяев.

То по-летнему легкомысленно - в полустегнутых пестрых халатиках на еще влажное после купания тело - одетые юные курортницы, чьи успевшие уже высохнуть завитки подобранных на затылке волос, сойдя, казалось, с мопассановских страниц, заражали меня пылом буссенаровских героев. Всегда находились дела поважнее.

О доме на Приморской улице я вспоминал обычно, уже вернувшись из Одессы, когда раскаяние и досада быстро вытеснялись возбуждением от предстоящей встречи со школой, а шум волн, запахи моря и синеву неба сменяли гомон приятелей, с оглядкой на повзрослевших и пугающе похорошевших одноклассниц наперебой хваставших летними подвигами, слегка дурманящий запах едва высохшей краски и пестрота школьных коридоров. А следующим летом все повторилось снова.

Много лет спустя я отыскал, наконец, этот дом. Вид на море заслонило какое-то позднее строение. Легендарное окно определить не удалось. Чужой старый дом в печально ветшающем городе у моря. Да и тот ли? Мог ведь и ошибиться.

Почему-то с тех пор я перестал считать себя одесситом. И перестал стыдиться своего действительно родного города с его выбеленными одноэтажными по преимуществу домами, по окна забрызганными грязью из-под колес снующих по улицам грузовиков, с гирляндами сохнувшего белья, развешиваемого в зелени неяркими заборами огороженных дворов, убого-крикливой «наглядной агитацией», стыдливо прикрывающей неприглядные места и ветхие заборы. С грохочущими по плохим мостовым телегами, оглушительно кричащими что-то друг другу из закопченных летних кухонь старухами. С забавной смесью из русского, украинского и идиш в шумных очередях у осаждаемых мухами дверей магазинов. Перестал стыдиться своего провинциального детства. Со всеми его глупостями, заблуждениями, но и с чудесными запахами, чувством ежедневной новизны и предощущением счастья. Со всеми удивительно яркими и именно провинцией в изобилии рождаемыми людьми, с которыми довелось встретиться. Со всем, что сейчас вспоминается с нежностью и кажется единственно возможным и неповторимо прекрасным.

Одно только не дает покоя: что же все-таки я увидел некогда в море из того окна?

Год рождения

В который раз произнося или вписывая эту дату, я всегда ощущаю собственную к ней непричастность. 1948 год - эти цифры ни о чем мне не говорят, не будят никаких воспоминаний. Дата, памятная для родителей, но не для меня самого. «Сороковые роковые» - я только родился в эту мало для кого радостную пору и сразу же переехал в пятидесятые. Начало их помню плохо. Отчетливо - только смерть Сталина. Тот мартовский день совпал с моим домашним арестом: большой корью, я томился на кровати в полутемной комнате, с завистью прислушиваясь к доносившимся со двора крикам сверстников и легко восстанавливая для себя по ним перипетии разыгрываемого там футбольного матча. Матч, впрочем, скоро перерос в ссору, окончившуюся дракой. К скандалу немедленно подключились взрослые, потом - потревоженные заполнившей двор перебранкой собаки, а я лежал в полутьме, с завистью представляя себе соблазнительное зрелище: соперников, размазывающих по пунцовым физиономиям слезы и сквозь рыдания доказывающих, кто именно «первый начал»; родителей, перемежающих утешения с поучительными подзатыльниками; собак, заливающих оглушительным лаем и тут же принимавшихся извиняюще вилять хвостом: вокруг-то были все свои... Неожиданно в дверях появились заплаканная мама и бабушка. Это было странно: я-то не имел никакого отношения к скандалу во дворе, что, кстати, случалось крайне редко. Одновременно стихли голоса за окном. Включили радио, и обтянутая черной вошеной бумагой тарелка начала взволнованно перечислять заслуги осиротившего нас вождя. Бабушка все повторяла на идиш: «Отец умер...». Я тоже почувствовал

себя осиротевшим, что придало, казалось бы, непоправимо испорченному дню небывалую торжественность и даже праздничность. Я и не подозревал, что день этот окажется началом десятилетия, надолго определившего образ мыслей и чувств, и не только моих. Вот это десятилетие оттепели с заморозками и было временем моего рождения.

Сильнейшее из впечатлений раннего детства - начало «космической эры» и всенародное по этому поводу ликование, умело подогреваемое и своевременно оживляемое очередными стартами. Казалось, что мы стоим на пороге новой, еще более прекрасной жизни. Та, что вокруг, тоже не подвергалась сомнению, но ощущение обязательности и неизбежности счастья в не столь уж далеком будущем было еще сильнее. Кто обещал его?.. Быть может, буйно расцветшее творчество многочисленных фантастов? Читая запоем всю эту густо пересыпанную научными терминами макулатуру, мы с друзьями клялись посвятить остаток жизни казавшемуся единственно достойным поприщу. Разумеется, я решил стать физиком, мысленно уже воображая себя произносящим, подобно герою потрясшего меня фильма, небрежное: «Я посчитал... Это не термояд...».

И, конечно же, хрущевская десталинизация и следовавшие за нею всеобщие катарсис и возбуждение. Неважно, что был я тогда мал. Все, о чем писали, говорили, порой шептали - по старой привычке - вокруг, входило в сознание незаметно и поэтому ненавязчиво и органично. Тогда же, наверное, и свила себе в душе гнездо та утопия, много лет словами не формулируемая, с которой прожили еще лет двадцать - тот самый срок, что был отведен на построение коммунизма, а состоялись только олимпийские игры. Ну да, тот самый сто раз осмеянный социализм с человеческим лицом - флогистон, теплород, эфир, Лох-Несское чудовище - никто никогда его не видел. И трудно даже сформулировать какие-нибудь зримые черты этой утопии. Все, что вспоминается, - лишь приметы самого времени, утопию породившего, но не реализовавшего. Однако мечта порывала с реальностью, и человеческое лицо, подобно улыбке Чеширского кота, существовало отдельно от своего носителя, социализма реального.

И все же одну характерную черту этой утопии я бы попробовал определить. Считая имевшуюся в наличии Систему лишь досадной и в принципе устранимой помехой на пути в светлое будущее, я не мыслил, не представлял себе этого будущего совсем без Системы. Ее присутствие казалось обязательным, пусть в самой либеральной модификации, каплей уродства, необходимой, вероятно, в прекрасном облике мечты.

Какую тайную потребность это удовлетворяло? В непереносимом противостоянии? Пожалуй, еще более тайную - в защите. От кого или чего? Да от того, что всегда было страшней привычной во все времена тирании, - от «русского бунта, бессмысленного и беспощадного».

Когда-то Пушкин писал Чаадаеву: «...надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания», «...чтобы Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере бормотал бы, сжав зубы от ненависти: баран».

Так ведь и было. Из лож самого левого театра столицы фрондерам на сцене аплодировали воздававшие должное фронде функционеры. И симбиоз был привычен и необходим. Система ведь не только защищала нас от откровенных погромов. Достоевского, например, все же издавали, а порнография была запрещена. Черт возьми, звучит на манер «Было дело, и цены снижали», но...

Давно это было. Длилось долго. Не верилось никогда, что может быть по-другому. И не верилось, когда уже все изменилось.

Зашел герр Петер - он дежурит в проходной. Посочувствовал: первый день на фирме, и сразу - сверхурочная работа... Уже поздно. А я все не могу оторваться от этого - что это, собственно, такое? Жизнеописание? Так юношеству надо Плутарха читать или хотя бы биографию Новодворской, а я кто такой? Во-первых, конформист: всю жизнь жил в ладу с режимом, хотя и в разладе с самим собой, а прозревал вместе с газетами. Во-вторых... Но уж надо это дописать. Впереди еще пятая графа.

Национальность

С чего же начать? Самое раннее воспоминание детства - расположенный прямо по соседству школьный двор. Здесь малышами еще возились в песке на бесконечном долгострое директорского дома, с визгом разбегаясь при появлении школьного сторожа, совсем, кстати, не злого, удивительным образом наделенного вполне негроидными чертами лица, да еще чумазого из-за строительной пыли - вылитый дядя Том... Здесь позже играли «в войну», напевая себе под нос во время погонь и перестрелок подобия аккомпанементов из батальных кинофильмов. Здесь я вместе со сверстниками часами носился по импровизированному футбольному полю или, лежа в одиночестве в густой траве, перечитывал в сотый раз «Мифы и легенды древней Греции». И, сколько себя помню, на выходящей в школьный двор белой стене нашего дома зияло огромными, глубоко в глине процарапанными буквами выведенное безграмотное и оскорбительное: Ж Ы Д Ы. После очередного ремонта надпись неизменно возобновлялась, так что пятая графа на стене нашего дома не пустовала. Позже, из общения со многими ребятами, из случайно услышанных разговоров не обращавших на соседского мальчика внимания взрослых возник столь малосимпатичный образ еврея, что считается евреем мне решительно не хотелось. Хотя ничего плохого о конкретных евреях, моих родителях, например, не говорилось. И о других тоже. Говорили: «Хороший мужик, хоть и еврей». Я стал размышлять: что значит быть евреем? Кто присваивает это звание? О религии я и понятия не имел. Родители мои были атеистами. А бабушка...

Семейное предание гласило: бабушка первой из огромной семьи моего прадеда порвала с прежней жизнью. Выучившись у какого-то местечкового портного строчить на швейной машинке, она, выросшая без матери, во всем остальном была грандиозно невежественна вплоть до замужества: дед не только обучал ее грамоте, но и рассказывал, к примеру, откуда берутся и каким образом появляются на свет дети. Это не помешало, а быть может, даже помогло ей с энтузиазмом влиться в ряды мобилизованных и призванных революцией «яростных недоучек». Активность юной моей бабушки, участие в каких-то пропагандистских мероприятиях - все это явно пришлось не по вкусу моему прадеду, справедливо полагавшему, что не еврейское это дело. Здесь истоки разрыва бабушки с семьей своего отца, и разрыв этот стал окончательным после категорического отказа бабушки дать свершиться известному обряду над новорожденным сыном, младшим братом моей матери. Вместо этого бабушка устроила в клубе показательные «красные крестины», а сына назвала Марксом... Ехидные соседки потом, бывало, задирали рубаху на животе бегавшего по двору карапуза и со смехом указывали на неоспоримое свидетельство отступничества. Вот этого прадед мой уже не вынес. Так семья моей мамы покинула местечко и оказалась в Одессе, где бабушка работала на швейной фабрике швеей, а дед - канцеляристом. Дед редактировал стенгазету, а бабушка продолжала проявлять энтузиазм. Грамотность деда удачно дополняла пролетарское чутье и энергию бабушки. В итоге их отправили обоих под Екатеринослав поднимать нарождавшееся совхозное хозяйство. В политотделе при совхозной МТС бабушка была заместителем заведующего женотделом и, подобно героине платоновского «Ювенильного моря», с утра до ночи носилась на двуколке по совхозным полям, неустанно проводя работу, содержание которой, впрочем, так и осталось мне неизвестным. Но планы партии в те времена менялись, как известно, часто. Совхоз почему-то расформировали. Бабушка вернулась в Одессу, но уже не на фабрику, а на «советскую работу», как называлась тогда деятельность многочисленных учреждений новой власти - от домоуправлений до отделов Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Энтузиазма ее не поколебали ни фантастическая бедность повседневной жизни, ни известные реалии конца тридцатых. Бабушке предстояло еще пережить гибель мужа и эвакуацию, голод в послевоенной Одессе, непреходящую нищету и изобилие болезней в незаметно подкрадывшейся старости, прежде чем энтузиазм этот угас тихо и мирно, как скончался за много лет до этого от тяжелого воспаления легких маленький мальчик, названный именем вождя мирового пролетариата.

Так что ни о каком еврейском воспитании для меня не могло быть и речи. С чем мог идентифицировать я нашу принадлежность к еврейству? Разве что с громогласным идиш в наших дворах, цветистые проклятия на котором были столь же красочны, сколь и беззлобны. Не в пример раскатам русской матерщины, которая даже для не вполне понимавшего ее смысл ребенка звучала тяжело и оскорбительно. По-украински в центре нашего городка почти не говорили. В большинстве школ города преподавали на русском языке, а украинский считался «сельским» и в нашем, с претензиями, городишке был непопулярен. Например, при случавшихся порой разборках «кто какой нации?» - меня при этом великодушно не замечали - мальчики все как один называли себя русскими, хотя все до одного числились украинцами. Борьба с местным национализмом велась в наших краях столь успешно, что я за всю свою в украинском городке прошедшую юность увидел меньше атрибутов

украинской культуры, чем в одной-единственной украинской семье в Германии. Идишу меня не обучили: родители переходили на него в разговоре при мне, лишь когда нужно было скрыть смысл произносимого. Я относился к нему так, как относились к украинскому своих бабушек мои сверстники: как к атавизму, меня к тому же компрометировавшему. Многие из горожан, неодобрительно глядя вслед живописным старухам еврейкам, громко переговаривавшимся на идиш, ворчали: не могут, что ли, русский выучить... Каюсь, мне почему-то было стыдно за этих, так и не приобщившихся к современности старух. Когда кто-либо из них пытался заговорить со мной на идиш, я смущался и, краснея, оглядывался по сторонам, словно мог быть уличен в чем-то неприличном.

Стоит ли продолжать? Вечное «жид по веревочке бежит» и первые драки до крови в пионерлагере. Или это - как вздрагиваешь невольно, если слово «еврей» прозвучало в классе (скажем, на уроке литературы) и одноклассники мигом переглядываются, а потом - быстрые взгляды в мою сторону. Все в детстве это проходили. Но вот школа окончена с золотой медалью. Секретарь приемной комиссии физико-технического факультета университета берет из моих рук заполненную анкету. Пауза.

- Молодой человек, а почему в графе «какими языками народов СССР владеете?» написали только «украинским»? А русским?

- Но это же мой родной язык.

- Ну почему же... Ведь вы - еврей... Верочка, вот тут к нам еврей поступает...

Меня долго убеждали поступать на другой факультет. Я вежливо упорствовал. Декан со вздохом развел руками и полселал мне удачи на экзаменах. Разумеется, я не прошел по конкурсу.

О попытках устроиться на работу после окончания учебы - да об этом же целый эпос, сотни анекдотов, безумно смешных именно потому, что за ними - маленькие трагедии, равно знакомые рассказчику и слушателю. Но, с другой стороны, и в детстве почти-то и не били... И в институты, пусть со второго-третьего раза, все же поступали, и работу в итоге добывали, а порой... как возмущался персонаж песенки об антисемитах, «и защищали наши диссертации»...

Словом, с годами нетрудно стало ответить на свой же детский вопрос: что значит быть евреем. Оставался второй вопрос: кто присваивает это звание? Я не верю в «голос крови». Когда-то Юлиан Тувим сказал, что еврей он по крови, но не по той, что течет в жилах, а по той, что течет из жил. Я подумал: та, которая в жилах, просто химический состав, не более. Те, кто заполнял пятую графу - в паспорте ли, на стене ли нашего дома, - не спросили меня самого. Еврей - тот, кто считает себя евреем и не скрывает этого.

Значит, «я - еврей» - подчеркнуто простодушно и отчетливо, рассчитываясь, наконец, с самим собой за то, как беспомощно оглядывался в детстве на сверстников, испытующе наблюдавших за попыткой старой еврейки заговорить со мной на идиш.

Все же самому себе я казался самозванцем. Живя уже в Ленинграде, входил под сумрачные своды синагоги. Бог знает зачем. Видимо, пытался неосознанно пробудить в себе какие-то воспоминания или чувства. Но ничего я не почувствовал, ничто не шевельнулось на дне моей памяти. Не помогли ни лекции в Обществе еврейской культуры и Еврейском университете, ни встречи с израильянами, ни прочие мероприятия, ставшие тогда, как говорят, приметами времени. Потому, вероятно, и не помогли, что коллективные, в духе дня, прозрения и обращения удаются редко.

Впрочем, иные приметы того же времени с лихвой компенсировали неудачи моих попыток осознать себя «настоящим евреем». Появились разговоры о готовящихся еврейских погромах. Одни мои друзья срочно отправлялись в хозмаг за топорами и одалживали охотничьи ружья, а другие подшучивали над первыми, но, в свою очередь, задавались вопросом: почему же руководство страны, вступившей, наконец, в фазу относительно просвещенного абсолютизма, упорно не опровергает эти, конечно же, разрешенные к распространению слухи. И тоже задумывались.

Дочь наша уже давно посещала воскресную еврейскую школу, с увлечением штудирова учебники по ивриту. Взяться учить его и мы. Земля обетованная явственно обозначилась по курсу нашей семейной ладьи. На всякий случай, я обратился к украшенному великолепной бородой израильянину. Тот занимался в синагоге, как я понял, оказанием помощи в возрождении еврейской жизни и культуры. Я хотел услышать несколько ободряющих слов для жены-украинки: она уже и так была подавлена перспективой расставания с родителями. Но мудрец растолковал мне с прямотой римлянина: у нас будут проблемы с вашей женой, а у нее - с нами... Разводитеесь - и добро пожаловать. А насчет дочери - не знаю, что вам и сказать...

Домой ехали молча. Потом нас утешали: да это же ортодокс какой-то, нашли к кому обратиться, не принимайте близко к сердцу! Но, видимо, задело...

События тех дней, однако, повода к длительным раздумиям и колебаниям не давали. Уже были и Тбилиси, и Баку. Пришел черед Вильнюса. И тут редко подводившая меня интуиция подсказала: надо спешить, не то будет поздно. Все повторится в масштабе всесоюзном, и танков будет значительно больше, а приоткрывшаяся было дверь захлопнется еще на полвека ударной стройки коммунизма. Пророком я оказался никудышным. Но, думаю, иначе мы бы так и не уехали. Спасибо власть предержащим: «достали». Наконец, и мне стало тошно, да так, что мигом оказались в Германии, благо и случай как раз подвернулся.

Уже здесь нам пришлось проглотить не одну горькую пилюлю. Продолжавшая изучение иврита и Торы дочь простодушно собралась принять участие вместе с другими еврейскими и еврейскими считавшимися ребятами в некоем мероприятии. И вдруг услышала от одного из местных «инженеров человеческих душ» безапелляционное: ты не еврейка... А вскоре моя жена услышала: вы должны знать свое место в еврейской компании... Вот уж не думал, что меня достанут и с этой стороны. О той компании, которую составляли, увы, многие наши товарищи по судьбе, я и рассказал по радио. «Свободу» слушают тут многие. И персонажи меня услышали. Самый деятельный даже в правление еврейской общины доложил об антисемитских моих выступлениях. Это по радио «Свобода»-то, да еще в еврейской его программе... О чем я там говорил? О тех, кто прежде гордился общественным строем, а теперь национальностью, хотя сам крайне смутно представляет себе разницу между Ветхим и Новым заветами, о иврите знает лишь, что это справа налево, путает еврейский образ жизни с местечковым менталитетом, о еврейских традициях и праздниках знает порой меньше инного немца, а относительно еще недавно на собраниях искренне возмущался «агрессорами-сионистами». Разумеется, это скорее беда, чем вина. Только наш герой, приехав, что-то не спешит наверстать упущенное: занят очень. Печется о чистоте рядов. Возмущается: «По коридору бегают русские дети...». Жалобы со словами «не чисто еврейская семья» строчит. Увы, советский человек все свое привозит с собой. Возможно, прозвучало резко. И был ли этот коллективный портрет портретом всего коллектива? Нет, конечно. Но те, о ком речь, заметнее. По ним, увы, судят и об остальных.

В другой передаче я усомнился в правомерности восторгов по поводу «первой экспозиции еврейских художников в своем отечестве», выраженных в российской прессе. Перечень имен дебютантов смутил: Пастернак, Бакст, Серов, Бурлюк, Фальк, Альтман... Ага, это они дебютировали как «еврейские художники», и имена заботливо указаны: Лев, Давид, Натан... Вот бы сейчас угрюмый наш сосед из моего детства («Все эти писатели-художники - все они евреи!») обрадовался: «Я же говорил!.. А то - Серов, Серов...».

Разве Сен-Санс был еврейским композитором? А Марсель Пруст еврейским писателем? Тогда и Бродский - не русский поэт. Что в творчестве Серова делает его частью еврейской культуры? Получается, правы те, кто подсчитывает число евреев в большевистском правительстве или НКВД. Но соблюдали ли Троцкий, Каганович и Ягода закон Моисея? Были ли они «еврейскими политиками»?

Но и загадочные еврейские плеяды из Бакста, Серова и Бурлюка... не более чем безвкусная спекуляция. Да и услуга, оказываемая таким образом еврейской культуре, сомнительна: вклад евреев в развитие духовной жизни человечества таков, что в показухе не нуждается.

Но, конечно, опять антисемитское выступление. После этого уже каждое лыко - в строку, и вполне невинная элегия о еврейских эмигрантах с газетами «из Союза» в руках, увлеченно затевающих спор о судьбах русского народа, тоже воспринимается как издевка. Ну и так далее... Так я и тут оказался маргиналом.

И все же есть тема, вокруг которой ходишь, как кот вокруг горячей каши, не решаясь к ней прикоснуться: закон Моисея - ведь я не соблюдал его. Не знал, но, как известно, от ответственности это не освобождает. Вот от этой ответственности мне не уйти, несмотря на все аргументы в свое оправдание, на все попытки переложить ответственность на всевластное время. Я вырос русским - по языку, культуре, быть может, скорее - бескультурью, русским евреем. Я тем не менее не смог идентифицировать себя со всем тем, что поднялось со dna русской жизни, отравляя своим дыханием все, что и без того не благоухало. Если быть честным, то я ведь и прежде не смог бы идентифицировать себя со всем тем русским, что от Калиты еще, исключая то, что принято называть золотым и серебряным веками русской культуры и что создавалось не одними русскими. Я вырос на Украине, и мне дороги и этот прекрасный край, и множество симпатичных его обитателей. Но я не смог бы идентифицировать себя и с тем, что поднимается со dna жизни там, разумеется, выдавая себя за истинно украинское. Я искренне хотел бы интегрироваться поскорее в немецкую жизнь. Но здесь, боюсь, все будет еще сложнее.

Так кто же я? Маргинал в квадрате, в кубе? «Безродный космополит»? Человек без корней? Где они, эти корни? Не в Испании же, в самом деле. Беда ли это, вина ли, но я не знаю ответа на этот вопрос. Если ответ и сыщется, он не уместится в графу «национальность». И это будет совсем другая история.

1992 г.

Прошло еще полгода. Тот самый, в одночасье набранный и распечатанный текст попался на глаза двум самым близким моим друзьям. Первый его обругал: «Кому это может быть интересно?». Собственно, я и сам так думал. Второй одобрил. Кому верить? Тут в руки мне попался один из номеров «Нового мира», а в нем - «Бесконечный тупик» Галковского. Прочел, и таким дилетантством показался мне мой опус. А потом подумал: «Ну вот исчез бы я, и все, что именно я увидел, чувствовал и пережил, исчезло бы - невелика потеря, а все ж потеря, и именно этого не вспомнит уже никто. А ведь в том же «Тупике» сказано: «...может быть, 90-е и более поздние годы будут характеризоваться постепенным «выпрямлением» нечеловеческой кривизны духовной сферы. Потому как раз шестидесятые - восьмидесятые - это вершина социализма, зрелый, чистый, духовный социализм. Лет через двести демонологи будут плакать от зависти к нашим современникам: «Глазком, глазком одним посмотреть на этот кошмар»». Так ведь и я, хоть глазком, но что-то же повидал. И еще: «Я... все всерьез воспринимал. Я - максимально советский человек, и именно советский человек определенной эпохи». Да это же точно - обо мне. И, как нарочно, в этом же журнале, в «Потерянном рае» Вайля и Гениса: «Нас не зовут в советологи - и не надо. Надо другое: создать собственную советологию, не разоблачительного, а аналитического характера. По-настоящему сделать это можем мы...». То есть эмигранты. С одной стороны - верно. С другой... Советология... Три источника, три составные части... Впрочем, пусть создают. Но, быть может, и такие, саморазоблачительные и отнюдь не аналитические, бессвязные и ни на что не претендующие заметки тоже когда-нибудь пригодятся разбирающему потемки наших дней; кто знает, что он будет искать, роясь в сегодняшних окаменелостях. И я вернусь к своей анкете.

Отношение к воинской обязанности

Тут я засомневался: быть может, правильнее: «повинности»? Да нет, это - архаизм какой-то, впрочем, как и любая оговорка, не случайно всплывший. Что дальше? Тогда, полтора года назад, все написалось легко и в один присест, а сейчас что-то застопорилось. Ну конечно: «проза», чувствуешь себя мольтеровским героем, я это давит. Средство тут одно - забыть про все это и писать о том, что придет в голову, что зазвучит сразу же. Вот прислушался - звучит: «Та-та... та-та-та... пам-пам... па-ра-ра...».

Да-да, «Прощание славянки»... Впрочем, сказано же: «Духовое стоит где-то рядом с духовным». А меломаны пусть уж простят.

Признаться, музыкальным слухом природа меня обделила. Мама все не хотела поверить в это: они с отцом были оба музыкальны и, как мне тогда казалось, весьма эрудированны. Когда та самая обтянутая воощенной бумагой тарелка на стене одаряла нас чарующими руладами, уставшая от дневных хождений по вызовам на своем участке мама подпевала, мечтательно закрыв глаза и неуклонно погружаясь в сон, задремывая у источавшей ласковое тепло печки с непонятым названием «груба», а отец, оторвавшись от «Ундервуда», поднимал палец и, ни к кому особенно не обращаясь, уважительно констатировал: «Тоска». И снова принимался за свой сизифов труд под звуки оперных арий, которыми почти не умолкавшее в нашей квартире радио одаряло тогда щедро, отрываясь от бумаг, лишь (тут звучало его предостерегающее «ша!», и он весь обращался в слух) когда тяжелый голос певца со смешной фамилией Гмыря проникновенно пенял провидению, лишившему его крыльев и, следовательно, возможности соколом летать в небе.

И отец не только не оспаривал непомерных притязаний поющего, но и слегка, по-утесовски завывая, сочувственно ему подпевал. Уйдя из родительского дома, я уже навсегда ушел и из радиослушателей, но и по сей день искренне благодарен тому радиоликбезу, конечно же, назойливо одностороннему и безграмотность мою отнюдь не ликвидировавшему. Плюс качество звучания радиоточки... Жили мы тогда весьма скромно, и покупка радиолы стала событием. А отец принес и первую пластинку. Это была увертюра к «Севильскому цирюльнику», и имя дирижера на конверте звучало изысканно и гордо, в нем были и «Тоска», и Паганини, и Бог знает что еще. А потом... Сейчас мне кажется, что в тот день я и пережил все, что может дать человеку музыка. И я согласился начать учиться. Многими жителями нашего города овладело тогда повальное стремление непременно приобщить к музыке своих чад. Выбор музыкального инструмента был строго традиционен: «коренное» население предпочитало баян, евреи - аккордеон и скрипку, а фортепиано было делом детей местной интеллигенции, учителей и врачей, чья этническая ориентация была менее определенной. Не было отбоя от желающих посещать музыкальную школу. Хватало работы и репетиторам. Имя одного из них произносилось обычно с оттенком уважительной зависти: мэтр готовил местных вундеркиндов к поступлению в одесскую школу Столярского, откуда дорога вела уже в консерваторию, а там - в заоблачные выси, о коих мне, разумеется, и не грезилось. Но - хотя бы научиться...

Мама обратилась ко второму из городских репетиторов, человеку в своем роде замечательному. Ему было не больше пятидесяти, но мне он казался глубоким стариком, в котором было что-то и неистребимо детское, и беззащитное. Я знал, что он учился в консерватории, а потом, неизвестно по какой причине, оказался в лагере, откуда вышел постаревшим и совсем уже сломленным, женился на сварливой ведьме, по слухам поколачивавшей его. Он был непрременным аккомпаниатором всех репетиций на школьной сцене, где с одинаковым безразличием наигрывал то польку Кабалевого неуклюже топчущимся первоклашкам, то Брамса романтическим выпускникам, разучивавшим Евтушенко. В речах его вселенские грусть и скептицизм приправлялись каким-то неуловимым юмором, и все это сочеталось с особой хрупкостью его облика. «Ты знаешь, какие аккордеоны я в Кишиневе видел, тебе такие и не снились», - мечтательно говорил он вдруг остановленному им на у лице ученику. - «Почему?» - переспрашивал тот недоуменно. - «Ты же дурак, что тебе снится...» - меланхолично объяснял Лев Иосифович и брел дальше, сгорбившись и смотря на окружающее одним глазом, поскольку большего сей явно не лучший из миров и не заслуживал. Эта его привычка однажды испортила грандиозное торжество по случаю очередной годовщины Великой революции. В кульминационный момент праздничного концерта, когда до взятия Зимнего оставалось всего ничего, из-за боковой кулисы появился вдруг незадачливый аккомпаниатор, чей обращенный к залу' глаз был привычно закрыт. Публика затаила дыхание. Неожиданно из-за кулисы вытянулась железная рука заведующего горно. Она ухватила за складку свисавших с тощего зада нарушителя брюк и утащила его за кулису. Все это порядком развлекло публику, обреченно внимающую хрестоматийным уже, мягко говоря, сценам из истории державы, но вызвало серьезную панику в ложе отцов города.

Вот кому отдали меня в обучение. Вероятно, вследствие постоянной задумчивости учитель не сразу заметил, что я лишен музыкального слуха, и весь первый месяц обучения удивлялся успехам, которыми я был обязан неплохой памяти, просто-напросто заучивая последовательность нажатия клавиш, да несомненному чувству ритма. Лишь когда задания усложнились, он с удивлением отметил, что я не в силах правильно воспроизвести нужную ноту. Финальный скандал разразился, когда во время выполнения домашнего задания мама, прислушивавшаяся с удовлетворением к звукам из-за двери, вошла вдруг и застала нас с моим троюродным братом врасплох - каждый занимался своим делом: я увлеченно рисовал что-то на пиратский сюжет из Стивенсона, а музыкальный мой родственник с аккордеоном в руках старательно имитировал несомненные мои успехи... На том все и кончилось. Меня оставили в покое, и среди множества музыкально одаренных и отчасти образованных сверстников я остался белой вороной. Как сказали бы в армии: «Рядовой, не обучен».

К ней, армии, самое время и вернуться, пока звучит еще в памяти медь оркестра, выводящего незатейливую мелодию. Поначалу отношение к воинской повинности у меня было недоверчивым. И не служба пугала - я был для этого чересчур романтиком, - а издевательства и унижения, которым подвергались новобранцы, в особенности такие книжные мальчишки-евреи, как я. Но я все же поступил со второго раза в университет, где непобедимая и легендарная была представлена весьма безобидной своей модификацией, военной кафедрой. Там и состоялась задушевная беседа с одним из отцов-командиров, стяжавшим себе славу в годы оказания скорой братской помощи заблудшей Чехословакии. Беседа была неслучайной: нас готовили в офицеры и, оказывая доверие, постепенно посвящали в то, что, собственно, во всем мире с самого начала тайной и не было. «Ну, конечно же, ни о чем чехи нас не просили и не звали нас, и все это - для широких народных масс, но ведь мы с вами понимаем...». Он говорил о том, что можно было бы услышать разве что по голосу «из-за бугра», а, впрочем, голосам этим я тогда и не внимал. В школьные мои годы, едва заслышав голос с неуловимым акцентом, начисто лишенный привычной задушевности и обязательной приподнятости, отец резким ударом по клавише коротких волн и возмущенным взглядом в мою сторону прекращал поток лжи и клеветы на окружавшую нас прекрасную действительность.

Честно говоря, политическое мое целомудрие тогда в особом оберегании и не нуждалось: окружавшая нас действительность казалась мне восхитительно прекрасной. «Чехословацкий» полковник своим доверительным тоном потряс меня до основания: значит, все, о чем говорилось с оглядкой и не всегда воспринималось с доверием, - правда... А полковник продолжал: «Вы читали, что было приказано не открывать огонь ни в коем случае? Чепуха: каждый командир имел на это право, и правом своим многие воспользовались... Вы слышали, что братские страны с пониманием отнеслись к прохождению танковых колонн по их территориям? Да никто их согласия и не спрашивал...». И так далее.

Бог с ним, с враньем о мифических дивизиях бундесвера, якобы стоявших уже в боевой готовности на границе с Чехословакией, и «если бы НАШИ не поспели...». Но вот это доверие - оно отделяло нас от тех самых широких масс, которым все это знать было не положено, делая нас причастными к тому, что сильнее всех, а сила, как известно, солону ломит, и мы всегда правы, потому что мы сильнее; вот и вы, ребята, теперь с нами... Слушавшие подмигивали друг другу: «Знай, мол, наших... А мы их и не спрашивали... Здорово...». Я видел, что многих захватило чувство сопричастности к имперской мощи, к

праве силы. Что чувствовал я сам? Восторга сопричастности, пожалуй, не было. На коленях моих лежала купленная утром в киоске пражская спортивная газета: чехи разгромили нашу хоккейную сборную. Над крупно набранным счетом стояло, не замеченное цензурой обеих стран, злое, романтическое и беспомощное: «За нас, за всех!». И все это я, кажется, тогда понимал. Ну конечно же, понимал. Ведь сам рассказывал анекдоты наподобие такого: «Если вы проснулись от рева танков за окном, не беспокойтесь: это пришли ваши друзья...». В атмосфере окружавшей нас жизни стремительно испарялись, просыхали остатки либерализма времен закончившейся оттепели. Собственно, именно тогда, на два года раньше срока, «досрочно» кончились и шестидесятые, чудесная эпоха нашего детства. Наступали иные времена.

Наш студенческий театр-студию обвинили в пропаганде пацифистских идей. Для начала. Начались бесконечные заседания университетского комитета комсомола, потом - парткома. Увещевания и проработки уже заканчивались грозным: «А ведь всем вам, ребята, еще учиться...». Мы пытались спорить и что-то доказывать, но время дискуссий кончилось. Наконец, нас разогнали. Потом закрыли студию, организованную нами уже не при университете и под другим названием. Мы встречались тайно, отчаянно фрондируя, строя грандиозные планы, которые тут же становились известными заинтересованным организациям из-за длинных языков многочисленных друзей театра. Наши неприятности, повсеместное закручивание гаек, само вторжение в Чехословакию - все это были лишь разной величины звенья в цепи неумолимых перемен. Конечно, я понимал. Но сила солому ломит. Сидел, слушал да помалкивал.

Прошло четверть века. И в августе я услышал, что Россия не считает себя ответственной за то вторжение. Ну что ж... А вот мне до сих пор стыдно. За чувство покорности силе, за неверие даже в возможность силе этой не подчиниться (о том, что нашлись тогда люди, которые вышли на площадь, я узнал лишь много лет спустя), за то, что сам тогда инстинктивно пытался сохранить чувство спасительного равновесия с миропорядком, подыскивая самому казавшиеся нелепыми причины и оправдания: черт его знает, может быть, те дивизии и в самом деле уже стояли на границе...

«Та-та... Та-та-та... Пам-пам... Па-ра-ра...».

«Прощай, не горюй, напрасных слез не лей...».

Юные забавы военной кафедры исчезли как сон, как утренний туман, уступив место армейским будням, где мажора и минора хватало с лихвой. «Прощание славянки» все звучит, и я вижу себя стоящим на плацу, где мы выстроились по случаю прибытия на учения нашей части высокого начальства для руководства и инспекции. Но высокое начальство, едва вырвавшись в командировку, упилось до положения риз и к нам приехало уже в сильно поврежденном состоянии. Истекал третий час нашего стояния под палящим солнцем на плацу учебного центра, полковник все еще боролся с жестоким похмельем, и никто не решался взять на себя ответственность скомандовать нам: «Разойдись!».

Среди солдат были ребята, в которых основная масса безошибочно распознавала чужаков, а я узнавал самого себя пятью годами ранее: недоучившиеся студенты, вчерашние школьники - словом, те самые книжные мальчики, что остро чувствовали и переживали все унижения и несправедливости армейской жизни. У нас, офицеров-двухгодичников, вчерашних студентов, они порой искали поддержки, сочувствия, просто понимания. Вот с кем не хотелось тогда встретиться взглядом. Наконец, полковник появился, но вид его был страшен: налитые кровью бычьи глаза, багровое лицо, обиженно оттопыренные губы. Учение так и не началось. Не ответив даже на приветствие и доклад командира части, стратег придирчиво стал осматривать личный состав приданного нам полкового оркестра, чей внешний вид был и в самом деле далек от совершенства: несколько пожилых сверхсрочников, уставших уже порядком от стояния на жаре, выглядели весьма жалко. И они замаршировали по его приказу перед строем части, обреченно глядя перед собой, давно уже залитые потом с головы до пят, вдоль строя части, туда и назад, шатаясь и неуклюже поворачиваясь со своими инструментами, выдувая из последних сил бесконечные рулады «Прощания славянки», а мы стояли, вытянувшись, и смотрели на них.

«Та-та... Та-та-та... Пам-пам... Па-ра-ра...».

Наконец, самый пожилой и грузный из музыкантов, не выдержав, грохнулся вместе со своим огромным медным геликоном наземь, казалось, замертво. Остальные, едва держась на ногах, с мольбой оглянулись на своего мучителя. Тот молча повернулся и ушел к себе, а мы долго еще стояли на плацу, ожидая продолжения, пока отцы-командиры не решились, наконец, распустить строй. За два года службы в приграничном округе я пережил немало. Почему же вспомнились не изнуряющие марши по заснеженным перевалам, бессонные ночи учений, бдения на боевом дежурстве и множество других сюжетов для мужских баск о тяготах и лишениях армейской жизни, а вот эта дико абсурдная сцена:

роскошная зелень абхазских субтропиков, палящее солнце, изумрудное море вдали, размалеванный до пародийности безвкусной «наглядной агитацией» двор и раскаленный плац, по которому бесконечно марширует, шатаясь, этот несчастный оркестр - Феллини бы сюда... А армейские байки - это совсем другие истории.

Пребывание за границей

Когда-то заполнить эту графу было проще простого: мне не то что за границей пребывать, а и разговаривать-то с иностранцами запрещалось. В чем я собственноручно и расписывался под строгим взглядом дамы из первого отдела. Какая уж тут граница. А теперь вместо лаконичного «не пребывал» придется рассказывать не торопясь. Да и что, собственно, теперь называть «заграницей»?

Помню, как впервые выезжал уже из Германии. Всю жизнь ведь учили: граница - это святое. Вероятно, поэтому проснулся. Остальные, исключая водителя автобуса, спали. Было тихо.

Тишина на границе, как известно, обманчива. Вот сейчас откроется дверь, и застучат по проходу⁷ сапоги, и какой-нибудь ихний джультбарс станет обнохивать ноги пассажиров, а капрал-пограничник больно задевать их спины прикладом автомата за плечом. Я же помню. Но ничего этого не произошло. Правда, водитель отлучился куда-то на минутку, но, возможно, по своим собственным делам. И мы поехали дальше. Разочарованный, я заснул и проспал все последующие границы до самой Франции.

Прошло не так много времени, и уже не кажется невероятной поездка - на недельку, до второго - в Париж или Лондон. А, возвращаясь, вспоминая в полусне перебранку автомобильных гудков на площадях, суматоху на перекрестках бульваров, увидишь ночью одинокого пешехода, терпеливо ожидающего на абсолютно пустой улице зеленого сигнала светофора, и знаешь: вот мы и в Германии. Привык все-таки. Привычка свыше нам дана... А что было поначалу⁷?

Я уже говорил, что слова «Германия» и «немцы» с детства связывались только с минувшей войной. Немцам полагалось лкбо с перекошенными злобой лицами бежать в атаку, пригибаясь над стволами «шмайссеров», либо, виновато вытянувшись перед начальством, выслушивать разнос после очередного подвига разведчика. И лишь кинокостюмеры вносили диссонанс в эти однообразные батальные полотна: мундиры врагов были чертовски воинственно-элегантны...

Но шли годы. Вначале были книги. Ганс Фаллада поведал о том, как было у них дома в далекие времена. Дал урок немецкого Зигфрид Ленд. Помог взглянуть глазами клоуна Белль. Очаровал игрой в бисер Гессе. Ну и так далее. Еще раньше были Шиллер и Гёте. А инстинктивное недоверие к блестящим якобы успехам «дойче демократише» лишь усиливало интерес к стране Вилли Брандта, Франца Беккенбауэра и Герберта фон Караяна. И вот - довелось познакомиться...

Встретила нас Германия деревень и поселков - с неправдоподобно ухоженными домами, цветниками, голубыми елями, гномиками на аккуратно подстриженных лужайках, наивными уточками и гусиками на окнах, фантастически благоустроенными дорогами. Здесь все дышит спокойствием и порядком, в незыблемости которого убеждают подробнейшие и свято соблюдаемые расписания автобусных рейсов.

Увы, мы с дочерью приехали далеко за полночь. Маленький вокзальчик был уже заперт. До места назначения оставалось еще километров двадцать. Вокруг ни души. Было еще по-апрельски холодно. Простуженная дочь, кашляя, посматривала на меня, ожидая решительных действий. Увидев слабую полосу света, пробивавшегося из-за окна вокзального кафетерия, я принялся стучать, и в окне показался заспанный юноша. Представляю, что сделала бы с нами потревоженная таким вот образом отечественная труженица вокзального общепита. Парень же занялся нами с такой готовностью, словно специально ожидал здесь нашего прибытия. Уловив из отчаянной смеси слов и жестов несколько знакомых названий, он успокоил нас, пообещав вызвать такси. Из-за угла появилась полицейская машина. Я ожидал просьбы предъявить документы и легкого обыска. Но двое похожих на студентов-очкариков юношей в форме принялись терпеливо объяснять нам дорогу, выражая сожаление: они не смогут подбросить нас, так как спешат по делам службы. Узнав, что такси уже вызвано, посоветовали спокойно ждать и отбыли. С другой стороны улицы подкатил белый «мерседес» - такси, водителем которого оказалась молодая светловолосая девушка. Улыбнувшись, она распахнула дверцу и пригласила нас в машину. И мы понеслись, выхватывая из тьмы светом фар кирпичные, один другого красивее дома, остроконечные кирхи, плющом увитый замок - позднее выяснилось, что именно здесь обитал некогда тот самый Мюнхаузен...

Наутро, съездив в Ганновер за оставленным в камере хранения единственным нашим чемоданом, я вышел из автобуса и остановился против отеля, пережидая проносившийся мимо длиннющий поток машин. Никакой «зебры» там не было. Из задумчивости меня вывели несколько вежливых гудков. Я поднял голову. Увидев пешехода с чемоданом, вся колонна остановилась, а водитель передней машины, улыбаясь, показывал мне жестом: мол, битте...

* * *

Ленинградский полдень. Очереди на Невском. Жара. Я стою в ожидании троллейбуса рядом с Елисейевским. Взгляд задерживается на фигуре мальчика, сидящего на окне магазина. Удобно прислонившись к витрине, он сосредоточенно расправляется с порцией мороженого. Ему хорошо. Смутно ощущаю некий вызов в раскованной позе юнца. Ну вот... Спешащий мимо пенсионер, миглом определив беспорядок, решительно свернул к витрине. Рука, сгребаящая мальчишку за ворот, и непереносимое «а ну...» - стандартная прелюдия к отечественной педагогике:

- А ну слазь!

- Почему? - удивляется мальчик и стряхивает бесцеремонную руку.

- Ах ты хулиганье! - заводится общественник. - Слазь, сволочь!

Уже собралась публика. Мальчишка пока ведет себя вполне достойно, лишь упрямо отводит от своего плеча дрожащие от возбуждения руки брызжущего слюной ветерана. Я завидую: в моем пионерском детстве безоглядные покорность и уважение к старшим парадоксально сочетались с взрывной истеричностью, если уж становилось невмоготу. Пока ничья. Но вот пенсионер обретает соратника. Тот постарше, лыс и тщедушен. На груди колодка с орденскими планками, а в глазах отблески так и не раздутого некогда на горе всем буржуйам мирового пожара. С радостным возгласом: «Вот как с ними надо!» - он вцепляется в густую шевелюру паренька и с невесть откуда взявшейся силой ударяет его головой о металлическое ограждение окна.

Ну это уж... Понятно, по какой части награды. Сейчас подойду и вмешаюсь. А вечером расскажу дома, и мне скажут: «Тебе до всего дело. Когда-нибудь ты нарвешься. Ты же обещал...».

Впрочем, уже поздно. Мальчишку стащили-таки с окна. Воспитатели возбуждены, тяжело дышат, их успокаивают. Слышно: «Эта молодежь...» и «Стрелять их надо...». Настроение испорчено. Я просыпаюсь... и вижу себя сидящим в вагоне ганноверского метро. Уже полночь. А на остановке в вагон вваливается шумная ватага юнцов, раздающих друг другу увесистые тумачи. Кто поездил поздним вечером в электричке из Гатчины или в трамвае по Лиговке, знает, что лучше не встречаться ни с кем из них взглядом. Упорно глядя в зеркало ночного окна, замечаю вдруг, что они в сущности не агрессивны, вернее - лишь по отношению друг к другу. Задев кого-то из посторонних локтем, самый буйный из парней немедленно извиняется. Интересна реакция пассажиров. Вернее, ее отсутствие: даже самые пожилые позволяют себе лишь неодобрительно поджать губы. Еще днем я заметил: здесь не делают замечаний друг другу, даже если речь идет о не в меру расшалившихся школьниках. Никто их не одергивает, не рывкает: «А ну тихо!» - словно в стране и вагоне объявлен траур. Люди стараются не задеть друг друга на ходу; если же это случается, задетый машинально извиняется. Но вот и конечная. Уже поздно, спешу. Взабегаю по эскалатору и с разбега утыкаюсь, как в стену, в затянутую кожей спину атлета, чьи плечи и шея мгновенно напомнили не то о Шварценеггере, не то о Рижском рынке. Сейчас как обернется... Амбал оборачивается и... испуганно-извиняюще смотрит: мол, проходите, пожалуйста...

Смущенно проскальзываю мимо, бормоча: «Где ж дикий Запад-то?». Аж противно. Так, пожалуй, и по гатчинской электричке затоскуешь...

* * *

Если вдуматься: кто сделал нас, не избалованных прежде объективной информацией «оттуда», наивными неисправимыми западниками? Вначале потрудился наш родной агитпроп. Тот самый, что еще лучшему и талантливейшему в зубах навяз. А уж нас за долгие годы и вовсе стошнило. Нельзя, впрочем, сказать, что на том западном фронте не было перемен. В семидесятые пришли ласковые вруны: доктора наук, писатели. Работали тоньше. Не помогло. Срабатывало естественное чувство противоречия. И

единственным результатом совместных усилий радио, прессы и телевидения было достижение результата, обратного ожидаемому: мы заодно не верили уже вообще ничему. Именно бессовестная ложь и огульная хула по адресу западного мира выпестовали у множества будущих эмигрантов его образ как земли обетованной, сказочного рая, только вырвись туда. Миллионы безработных - знаем, живут не хуже наших передовиков. Нищета, одиночество, отчуждение... Давайте я вам про нашу коммуналку расскажу, вам про Гарлем неинтересно будет. Ну и так далее.

Поэтому здесь, в Германии, эмигрант из бывшего Союза удивляется не тому прежде всего, что радуется. Тем более, к хорошему привыкают удивительно быстро. К порядку, к изобилию. К вежливости, к доброжелательности. И, когда некий юноша специально приезжает из соседнего городка, чтобы привезти твой забытый в поезде бумажник, разумеется со всем его содержимым, как-то уже и не удивляешься. Зато, когда бумажник этот вытаскают в городской суматохе, искренне изумляешься: все-таки воруют... Да конечно же, воруют. И грабят, бывает. И одиночество, и отчуждение... И безработица, оказывается, состояние отнюдь не воодушевляющее, несмотря на порядочное пособие. И право каждого вести себя так, как ему хочется, зачастую здорово раздражает. И многое, многое выглядит тут иначе, чем казалось, чем думалось всему тому тогдашнему жужжанию в уши вопреки. А эмиграция даже в самом благополучном ее варианте, как оказалось, фунтом изюму не является нисколько. Жизнь здесь жесткая, все с самого начала ставящая на свои места. Она и нас тут ставит с головы на ноги, что для человека, полжизни прожившего иначе, болезненно и непривычно. Лучший ли это из миров? По крайней мере, он таков, каким сотворил его Создатель. И в агитпропе он не нуждается. Сей миропорядок, очевидно, не идеален, но предпочтительнее того, что создало некогда ГПУ. А третьего уже не дано. Будем привыкать.

* * *

Поздним вечером на пустынном берегу, где на бесконечном пляже зонты сложили на ночь разноцветные крылья, словно стаи уснувших птеродактилей, под мерный шорох снимающего с моря стружку прибойя, в Италии, наконец-то - в Италии...

С чего начать? В голову просятся лишь убогие клише. Увидеть Италию и умереть? Было. И совсем не подходит: побывав здесь, захочешь долгой жизни, чтобы приехать еще и еще. Одна русская актриса заявила, вернувшись: теперь ей решительно не понятен поступок Джульетты. Жить здесь и не захотеть жить?

Каким стилем? «Весело плещут волны Адриатики. Но нерадостно простым налогоплательщикам. Многим из них - я видел этих девушек на здешних пляжах - уже нечем прикрыть грудь...». Или удивиться, что на улицах не звучит почему-то «Уно, уно, уно, ун моменте...»?

Что можно добавить к всевозможным «Образам Италии»? Все восторги и впечатления - все уже описано и запечатлено.

Но что останется за вычетом захватывающих набегов на Равенну, Венецию, Флоренцию? Описать побережье, где одно из измерений растягивается вдоль берега во всю длину итальянского сапога? Где по бесконечно меняющей названия улице броуновское движение загорелых тел и диковинные экипажи из спаренных велосипедов мчатся, распугивая гуляющих? Здесь счастливый отец в приступе чадолюбия покрывает поцелуями упитанные розовые ягодицы перепуганного младенца. Здесь мужчины терпеливо отсиживают рядом со своими детьми все мультфильмы в летнем кинотеатре. Здесь мимо сияющих витрин неспешно катят своих первенцев молодые супружеские пары, и выглядит это так: позади отцы семейств, негромко переговариваясь, толкают перед собой коляски, а впереди - юные жены, оживленно болтая, с сигаретами в порхающих руках. Здесь не встретишь ни одиночек, пытливо изучающих встречающих, ни парочек, что ищут уединения после скоротечного знакомства. Сюда просто не ездят поодиночке, и тут царит безмятежная и несколько пресная умиротворенность семейного счастья, совсем не похожая на подогретую призывными взглядами эротическую атмосферу черноморского курорта. Вот и в неширокой полосе пиний вдоль берега ни души. Где же, как говаривал один безродный филолог, «в парках бабье лепетанье, шепот, робкое дыханье...»? И на берегу безлюдно. Никто не забрел сюда помечтать: видать, все уже сбылось.

О чем же тогда в этом царстве благополучия? Что-то было еще. Дорога. По степи вдоль побережья и в горах Тосканы. Смутное воспоминание об этих самых дорогах тревожило в пути, как сейчас - об этих набегающих на берег волнах. Воспоминание или предвестие какой-то печальной истины. Где-то все это уже видел; быть может, в кино?

Ну конечно. «Дорога». Все-таки вспомнил. Как давным-давно, еще школьником, сбежав с уроков, забрел в пустынный парк, где был и кинотеатр. И на первом утреннем сеансе прославленного итальянского фильма оказался чуть ли не единственным зрителем. Как, потрясенный увиденным, выходил, утирая слезы, из пустого кинозала в безлюдные аллеи, повторяя про себя наивные юношеские клятвы. И что за эти тридцать лет, чересчур бережно относясь ко всем своим желаниям и слабостям, так ни одной из тех клятв и не исполнил. А сегодня мы с бродячим циркачом Дзампано, пожалуй, ровесники.

Вот он, этот берег. Здесь плачут, впившись пальцами в песок, о тех, кого уже не вернуть, о забытом и неисполненном, о жизни, прожитой дальше, чем до середины, под шум набегающих волн и отзвук забытой мелодии, плачут холодными злыми слезами на том самом берегу, в Италии, наконец-то в Италии...

* * *

Однажды случилась поездка в Киев. Быть может, удастся побывать и в Москве. Был конец сентября. Киев опечалил до невозможности. Даже вспоминать не хочется. И я был рад сесть в поезд на Москву, рад даже тому, что билет мне достался в плацкартный вагон. Не ездил в таком уже лет двадцать, со студенческих времен. Неожиданно обнаружил: вагон все тот же. Ей-Богу, тот самый: в нем за двадцать лет ничего не изменилось; пожалуй, что и не подмели. Я вспомнил некую фантастическую новеллу о попавшем в иное измерение поезде нью-йоркской подземки, мчащемся вне времени по ее путям. И пассажир, зайдя в вагон, с ужасом видит в руках у ничего не подозревающего попутчика прошлогоднюю газету... Да нет, многое, конечно, изменилось. Сервис стал еще ненавязчивее. Исчезла певучая мягкость в голосах проводниц, смягчавшая прежде всегдашнюю грубость. В вагоне сразу же повисло ожидание скандала, не замедлившего вскоре разразиться, когда погас и долго не включался свет. Одна из проводниц, молодая еще и, вероятно, в другой одежде и обстановке весьма привлекательная женщина, вдруг выругалась зло и грязно. Лицо у нее было смертельно усталым. Другая, сухонькая и нервная, все угрожала сверить билеты с паспортами и мстительно напоминала о грядущей на российской границе проверке документов: «Кто ЧУЖОЙ нации (она так именно и сказала) - готовьте паспорта...». Господи, какой же я теперь-то нации? Границу потом все проспали, никакой проверки не было. Другие разговоры в купе, другие одежды. Донашивали купленное в пору расцвета турецкого импорта. Но многие из попутчиков, кажется, все те же. Показавшиеся сначала старухами, а потом оказавшиеся молодыми и ужасно смешливыми украинки в плюшевых пальто и цветастых, красное с зеленым, платках. Когда я принялся укладываться, они целомудренно отвернулись. А сами допоздна шушукались, заливаясь хохотом, смущенно прикрывая рты, виновато косясь на скорбные лица попутчиков, а далеко за полночь устроили грандиозное пиршество. И купе наполнилось столь крепчайшими ароматами, что я, казалось, пригубил вместе с ними самогона, закусив не исчезнувшими, значит, пока еще салом, крутыми яйцами и соленым огурцом. А потом все разом заснуло, захрапывая на своих полках, и лица их во сне как-то сразу погребели и постарели. И угрюмые соседи из купе справа бесконечной чередой тянулись в тамбур покурить, задевая ноги беспробудно спящих на верхних полках, а в купе слева не умолкал горячий шепот неутомимого рассказчика. В дальнем конце вагона настырная проводница безуспешно увещевала кого-то, пытавшегося сэкономить на белье, стоившем, кажется, целое состояние: все не привыкну к нынешним ценам. Монотонно убаюкивала хнычущего ребенка изможденная женщина, не то его мать, не то бабушка. В мерный храп, в скрежет и позвякивание временами вплетался невыносимый баритон из вагонного радио, то проникновенно признававший, что «в жизни все сложно и спорно...», то разудало призывавший: «Киса, Киса, Киса, спи, моя Лариса...». В темноте за окнами проносились трассирующие огни. И можно было поверить, что я и не выходил из этого вагона все эти двадцать лет, и путешествие наше бесконечно, а все, что было и будет, - лишь бессвязные обрывки нескончаемого сна под гудки и грохот встречных поездов, под сварливые голоса станционных диспетчеров, под перестук колес, шепот попутчиков, шум дождя... Слава Богу, умолк тот баритон. И совсем иной голос вдруг запел:

Цыганка с картами.
Дорога дальняя.
Дорога дальняя, казенный дом.
Быть может, старая тюрьма центральная
меня, парнишечку, по-новой ждет.
Таганка. Все ночи полные огня.
Таганка, зачем сгубила ты меня...
Таганка, я твой навеки арестант,
пропали сила и талант в твоих стенах.

А ведь я дома. Вот она, твоя дорога дальняя - вся жизнь, из Украины в Россию, из бедного беззаботного детства, пылкой глупой юности в неприкаянность, незрелость зрелости, а дальше? И дом твой - вот этот плацкартный вагон, и среди попутчиков ты всегда свой и всегда чужой. Казенный дом. Ты думал, что сбежал? Никуда ты не сбежишь. Вот ты снова в его стенах, он твой навеки, дорога дальняя, и ночь полна огня, укройся получше, спи.

Блажен, кто посетил Москву. В ее минуты роковые столица выглядела в общем-то нормально. Если, конечно, считать нормой все то, что бросается в глаза не бывавшему здесь три года. Тщетно пытался я отыскать в облике города нечто, свидетельствующее о происшедшем государственном перевороте: не было ни демонстрантов, ни милиции; улицы не были украшены танковыми колоннами, а уставленные импортными напитками столики вдоль Тверской не по случаю переворота накрыты, а просто - за деньги, и притом немалые. По обе стороны улицы высились идиотские, метра три высотой, банки из-под кока-колы, на месте любимой некогда командировочными сосисочной сиял чертог McВопакГ'з'а, у подъезда Метрополя прибавилось хороших и разных автомобилей, а прохожих и зевак - просто разных. Улыбок в толпе не было. Но не было и политической экзальтации. Кажется, москвичи митинговым стихиям предпочитали будничные заботы о хлебе насущном или вполне понятную тягу к развлечениям. С чем их оставалось и поздравить (как выяснилось, впрочем, позже - несколько преждевременно).

Я все же ожидал каких-то событий: утром, еще в поезде, услышал московские новости. Отправиться к Белому дому? Позвонил двум знакомым; оба - известные и, безусловно, хорошо осведомленные журналисты. Первый был благодушен: «Отчего же, пройдишься...». Второй - категоричен: «Судя по твоей внешности, набьют морду непременно. И вообще не советую».

К Белому дому в тот день я не пошел. Не из страха, что действительно накомылят, а не желая пополнить таким образом ряды его защитников. Как не испытывал, впрочем, особого восторга и от лихих решений стороны противной. Помню, как доктор со смешной фамилией - из романа, который осуждали не читая, - искренне восхищался поначалу решительностью разрубивших тогда гордиев узел. Поживем - увидим. Не выбрасываю этих строк и сейчас, зная уже, чем все кончилось. Легко быть провидцем задним числом, а вот за день хотя бы - попробуйте.

Оставалось просто бродить по вечерней Москве, с наслаждением вдыхая запах опавшей листвы, уворачиваясь от беспощадных локтей нервно спешащих прохожих, узнавая и не узнавая, радуясь и печалась переменам, принимая парад многочисленных оркестров, ансамблей, солистов, чья музыка звучала в подземных переходах, у станций метро, просто на улицах - опять же не по случаю событий нынешних, а ежедневным аккомпанементом всему, что за эти три года стало повседневностью. Я подходил, слушал подолгу, с удовольствием замечая: несмотря на трудные времена, москвичи платили охотно и щедро. И моя купюра тотчас исчезала под мятым ворохом осеннего цвета червонцев.

Молодцы москвичи. Нервные очень, да ведь не один уже только квартирный вопрос их испортил. А к уличным музыкантам питаю я слабость с давних пор: некогда именно они олицетворяли для меня далекий и недоступный Запад. И эмиграцию вообще. Такая банальная картинка: на узкой улочке города, похожего на Таллинн, звучит «На сопках Манчжурии». Старик шарманщик с печальной обезьянкой на плече или сутулый флейтист. Я стою рядом, и в горле комок.

Смешно, но все оказалось в точности соответствующим действительности. Сколько уличных музыкантов потом повстречал я на неправдоподобно нарядных площадях старинных городов и в современных кварталах, окруженных толпой слушателей и одиноких с виду равнодушных прохожих, блестящих исполнителей и милых дилетантов, шарманщиков и гитаристов, флейтистов и трубачей. И «На сопках...» слушал, и комок глотал.

Вот московская флейтистка в стопроцентно рваных джинсах и чересчур легкой курточке. Ассистирует исполнителю совсем юное создание, чей вид вызывает из памяти незабвенную «Путевку в жизнь» и что-то из Гюго. Инна и Наташа. Инне 23 года, рижанка. В Москве живет нелегально, у своего друга, будущего кинорежиссера.

- Он очень талантлив, правда?
- А откуда Вы это знаете?..
- Догадался. А что это у Вас за флейта?
- Это немецкая флейта. Она очень популярна среди советских хиппи.
- Вы знаете, что произошло?
- Я вне политики. Но боюсь, будет гражданская война.

Наташе 17 лет. Сбежала из дому, добралась зайцем в Москву. Живет пока у друзей Инны. Ей повезло: могла бы попасть в какую-нибудь скверную компанию, «сесть на иглу». А тут за ней присматривают.

- Домой хочется? - Молчит. - Очень уж там плохо было, дома?
- От хорошего не бегут.
- Наташа, я уверен: там кто-то все равно страдает сейчас без Вас.
- На билет собираем...
- У меня возьмете?

Помотала головой отрицательно.

- Ну хорошо. Тогда пусть Инна еще сыграет, а я просто внесу свой вклад.

Инна достает из футляра популярную среди советских хиппи флейту, и звучит забытая мелодия из фильма времен нашей юности. И так хочется вернуться в те безмятежные времена, когда, казалось, всего-то и делов осталось, что убрать Ленина с денег...

- Последний вопрос. Если сейчас действительно что-то начнется, что Вы будете делать?
- Играть.

Подземный переход на Пушкинскую. Здесь солирует отрок, твердящий заклинания о группе крови и звезде по имени Солнце с таким свирепым лицом, что боюсь подойти - ударит. Рядом - места, куда я обязательно приходил, бывая в Москве: площадь и Твербуль, тусовка у «Московских новостей». Вместо дорогих сердцу отставного шестидесятника примет того времени - лишь пустые глазницы сгоревшего очага культуры да Пушкин, отвративший свой взор от толпы торгующих чем попало, да форпост победившего в холодной войне Запада - все тот же McDonalds. И я побрел назад, по Тверской, к площади, где «всего круглей земля». «В Кремле не надо жить... Преображенец прав...». Ну, чего тебе еще надо? Чтобы и на месте мавзолея - McDonalds? Так к тому идет. Что ж ты не радуешься?

В подземном переходе разливается благодать. Исходит она от седого мужчины лет шестидесяти. Вздыхают, жалуясь, басы, и певец делится с утомленными прохожими самым сокровенным. Подхожу.

- Меня зовут Вячеслав Павлович. Живу я на вокзалах. В Москве - с 1956 года. Сложности были всегда. Работал плотником, актером, пожарником, поэтом, грузчиком... Это моя стихия. Пою со сцены на профессиональном уровне. Лауреат конкурсов Московской области...

- Как Вы относитесь к последним событиям?
- Вот мой ответ! - распахивает выдавший виды плащ: на груди пламенеют значки со знакомым профилем в кепке. - А вообще-то я не в курсе... Но думаю, что это - страшное событие...

За поворотом готовится грянуть целый оркестр. Успеваю подойти к самому симпатичному музыканту. Его зовут Егор.

- Джаз играем, Армстронга. Сейчас услышите.
- А как называется такой состав?
- По-нашему: «Шапочный разбор».
- Как вы относитесь к происходящему?
- А нам давно наплевать!
- А если сейчас на улицах начнется?..
- Мы всегда будем играть!

И заиграли такое знакомое; кажется, сейчас зазвучит голос Эллы Фитцджеральд. И - что бы вы думали - несколько пар из окружившей музыкантов толпы танцуют.

Спускаюсь в метро. Непривычные названия станций. Много цветов. И на «ловерс дайм» в центре зала сказочно красивые девочки ждут неведомых счастливиц.

Обилие газет. При всем уважении к плюрализму игнорирую органы «духовной оппозиции»: краткие тезисы я уже прочел на заборах вдоль полотна железной дороги, еще подъезжая к Москве. Ну что пишут на заборах?..

Просмотрел демократическую прессу. Несколько острот оттуда тоже не благоухают. Белый дом наречен в одной из газет БиДе. Шутка названа народной. Скромничающий автор страшно далек от народа. Не столь еще массы затронуты урбанизацией.

Вот два объявления в газетах, действительно волнующие. Пенсионер-инвалид, бывший москвич, просит прислать ему резиновые галоши для валенок: сейчас сыро, не выйти из дому. Адрес в городе Николаеве. И еще: юноша, обидевший позавчера незнакомую девушку (сосед комментировал ей содержание музыкального фильма), догадался, наконец: девушка не видит. «Прости меня, девушка, ты прекрасна». Такое трогает куда сильнее, чем все изыски виртуозов пера по обе стороны баррикад. Адрес в Николаеве записал, на всякий случай. А чем помочь той девушке? И всем ее нервным согражданам? Спасет ли ее красота их мир?

У выхода из метро девушка, играющая на скрипке, призывает вернуться в Сорренто. Ей двадцать два, москвичка.

- Знаете, какая у нас стипендия? Три доллара в месяц. Тяжело сейчас очень. Всем.

- Как Вы относитесь к событиям этих дней?

- Никак.

Тут подошел милиционер и жестом показал: концерт окончен. Девушка засобиралась, а я вышел из метро туда, где меж двух вокзалов, бывшим Ленинградским и Ярославским, чернела одна из немногих статуй вождя, изображающая гения пролетариата не ловцом такси с вытянутой рукой, а - неожиданно задумавшимся: «Что ж это я в самом деле-то натворил? Уж век кончается, а все не расхлебать. Архискверно, батенька!»

Так в тот вечер музыка и пение, а не рев толпы, вой сирен или жуткое безмолвие побоища стали для меня главной приметой облика столицы. А впрочем, и этим тоже в итоге обделен я не был. Ну, конечно же, не удержался, пошел ТУДА вечером: лучше раз увидеть...

Увидел. Ретроградов, скандалистов, но и вполне нормальных, ну... не прозревших по команде людей. Увидел щиты и каски под козырьком у соседнего дома, А потом - полный набор впечатлений, на прощание.

И все же, уезжая из Москвы, надеялся: все «рассосется» и как-то уладится. Потом с ужасом не отходил от экрана. Зрители CNN и Евроньюс, пресыщенные уже кровавыми шоу, и, вероятно, слегка разочарованные два года назад, на этот раз получили свое сполна. Но я знаю, что видели они еще не все.

Прощание затянулось у меня на всю дорогу. Отечественные поезда - источник впечатлений неисчерпаемый. В сущности все вагоны в них (кроме разве что «Красной стрелы») - плакатные. А еще калейдоскоп границ, демонстрации новых моделей мундиров, бои местного значения по всему длинному фронту купе и кают: новоиспеченные стражи рубежей требуют покупки виз, и бесполезно спорить. Чиновники учтивы, но принципиальны: двухчасовой проезд по независимой территории стоит 100 марок, не меньше. Но и у них, вероятно, сердце - не камень: какой-то поиздержавшийся в пути пассажир отчаянно заявил, что у него нет такой суммы. «Давайте сколько есть», - неожиданно смягчился пограничник.

Муза дальних странствий многолика. На этот раз она приняла облик моих попутчиц. И опять это были три украинки, ничем, впрочем, не походившие на тех давешних, бойкие и уверенные обитательницы, скажем, киевского предместья. Оказалось - из Нежина, и уже едут они не в Москву торговать, а в Польшу. Путь накатанный, и сестры взяли на этот раз с собой подругу: пусть приучается, без этого сейчас не выжить. После их щедрого «та сидайте ж з нами» я не стал ломаться и, вызвав всеобщий восторг своим вкладом в виде нерозданных в Москве шоколадок, пригубил-таки огненного самогона, закусил соленым огурцом и незаметно для самого себя перешел на украинский. Вот они уже, перебивая друг друга, выкладывали мне, как своему, все свои нехитрые расчеты, и выходило, что даже после самой удачной поездки всего-то и останется, что детям на одежду, а их двое, и все ж на них горит, ну и чтоб более или менее по-человечески питаться, да еще для новой поездки закупить...

- Чего? - Да чего угодно. Что видишь - бери, в Польше все купят... Муж, конечно, против, а что он может - один семью не прокормит. Господи, что за времена настали! Вот белорусам, говорят, хорошо...

На границе они притихли. Вошел белобрысый поляк пограничник и, равнодушно просмотрев мой документ, углубился в изучение паспортов и приглашений попутчиц. Наконец, глаза его блеснули: опечатка в приглашении, что-то не сходится с паспортом. - Выходите...

Сколько там было слез - ведь выходить пришлось бы всем троим, - пока зеленая бумажка не перекочевала в карман белобрысого. Ну вот, не доехали еще, а уже в убытке. А что еще в Польше, там

ведь такое бывает... Потом успокоились и, увидев у меня альманах «Конец века», принялись поочередно читать вслух длинную повесть; кажется, Коклюшкина. И я опять подивился ирреальности происходящего: ночь, три незадачливые коммерсантки в купе, читающие модную прозу, хохочущие сквозь недавние слезы... Потом они сошли, выгузвив бесчисленные свои баулы.

Я задремал, но проснулся от резкого толчка поезда и увидел на скамье напротив двух, как мне сразу показалось, девочек, плохо одетых и с серыми от усталости лицами. И опять сестры, из Белоруссии. Старшей - тридцать три. Живет в Гомеле, работает врачом в доме ребенка. Муж - доцент в институте. Трое детей, старшему девять, все мальчики. Однокомнатная квартира, 17 метров. Без этих поездок в Польшу просто не выжить. Ездит она: у мужа такая работа, что не вырваться... уже восьмая поездка. Для младшей сестры - третья. Ей двадцать восемь, она — врач-анестезиолог. И муж тоже, вместе работают в больнице, в Костюковичах. Прожить пока можно, но они хотят собрать денег и покинуть зону...

- У нас ведь за 40 Кюри. После Чернобыля - три новорожденных с болезнью Дауна в месяц, не меньше. И лучше не становится. Все заражено ведь. А сельское хозяйство... Людей на работу привозят на автобусах, а все потом - в еду, в Россию по бартеру... Фермеров у нас мало, забыли все. Спиваются люди, алкоголизм всеобщий. Вот к нам одну привезли, с ребенком. Ей семнадцать, от кого ребенок - не помнит: их четверо было. «Мне после каждого стакан наливали...» А ребенок в четыре месяца голову не держит.

Выглядит она очень плохо: испорченные зубы, огромные для ее тщедушного тела руки, в мозолях и садинах, распухшие от переноски тяжестей.

- Как же вы в пути управляетесь?

- Помогают иногда, видят, какие мы худосочные. А недавно, в Варшаве, вырвали у нас по сумке из рук и ушли. Русские... А что мы можем? Поляки как раз неплохо относятся. Стыдно: когда они к нам раньше ездили, лет пять-семь назад, когда у них плохо было, мы к ним хуже относились... Муж? Против, конечно, боится за меня. И правильно: тут с нами что угодно сделать могут. Но что ж делать? Вот паспорт себе оформит, пусть с сестрой ездит. У меня уже сил нет. А у сестры нет выхода: впятером на 80-90 тысяч «зайчиков» не прожить,- И добавила тихонько, пока сестра отлучилась за кипятком: - Бедная она - ездят они там все на ней, по-моему, а она везет... Она ведь такая, безотказная. Там, где мы торгуем, ее уже знают, здороваются; она же доктор бесплатный там, на базаре...

За чаем они отогрелись, отдохнули немного. Младшую сестру все тянуло высказаться, она говорила медленно, но безостановочно, уставившись в темноту за окном:

- По-христиански надо жить: не для радости, а по совести. Только обидно: какая жизнь сейчас несправедливая... Обидно: школа, институт, плохо учиться было стыдно... А что в результате? Что это за жизнь? Почему так все? Была одна страна... Знаете, я все свои каникулы в стройотрядах провела. Вышки нефтяные строили, я - поварихой, обстирывала их всех, такая тяжелая работа. А теперь, значит, вышки эти и нефть уже не наши, не мои...

Перед выходом старшая подкрасила губы.

И я опять провалился в забытие, ведь не спал уже две ночи: ту, что у Белого дома, и эту, с проверками да попутчицами. Заснул так крепко, что не мог проснуться, когда в купе заглядывали на каких-то польских полустанках; кажется, кто-то сидел там, разговаривал. У меня все смешалось: и сон, и явь, и воспоминания о виденном - я ведь и в Ленинграде успел побывать, ничего Санкт-Петербургского, кстати, там не обнаружилось. Крошечная сморщенная старушка, укутанная во что-то с чужого плеча, все объясняла прохожим на проспекте Маклина:

- Внучка из Луги так и не приехала; случилось, может, что, а пенсия вот-вот будет...

- А сколько Вам лет, бабушка?

- С седьмого года, сыночек. А что это за деньги ты мне даешь? Я не вижу. Положи мне их отдельно, чтоб мне не перепутать в магазине.

- А там не...

- Нет, там девочки хорошие, они меня все знают.

- А дома-то есть у Вас еда?

- Так хлеба ж сейчас куплю...

- А магазин где? Вас довести туда?

- Спасибо, сыночек, я сама дойду, тут вдоль стены, найду. А внучка приедет обязательно, она у меня хорошая, а тебе спасибо...

И пыталась мне руку поцеловать. И я ушел, не повел ее в тот магазин, спешил очень, а потом опомнился и побежал назад, но ее уже не нашел; темно, и ветер колючий; иду и ругаю себя. И плакал во

сне, и не мог проснуться, и мелькали лица и обрывки разговоров на улицах, и лужа крови на асфальте, у входа в подъезд, прикрытая куском картона, а мужчина с девочкой на руках, выходя из дверей, объяснил будничным тоном: «Это ночью кого-то... видать, в подъезде спрятаться хотел, но у нас же дверь закрыта...».

Я представил себе, как он рвал дверную ручку, а двое в форме, что стояли у выхода из метро, спокойно разговаривая, вдруг набросились на какого-то старика, о чем-то их спросившего, и били с остервенением; и выстрелы на проспекте; и те трое на выставке, замечательная тройка: шеф с повадками комсомольского трибуна, спланировавшего потом на коммерческое поприще; его заместитель, чудовищно наглый юнец, которого очень хотелось выставить за дверь, как выставляют шкодливого и невоспитанного щенка; фаворитка шефа, прелестное создание, неизвестно зачем принимавшее участие в деловой беседе, хихикающая и задающая вопросы, от которых сам патрон невольно морщился. Интересно, а чем это они так тебя достали? Ты думал, новыми хозяевами жизни станут бывшие диссиденты-правозащитники или читатели толстых журналов? А ну-ка, признайся, любитель Бродского, те, прежние кровопийцы тебе милее сегодняшних воругов? Признайся себе, милее ведь. Были они привычны, понятны, так уж ты с ними сжился, как сживается с оккупантами родившийся после войны. И когда-то, полжизни назад, ты решил: эта империя - на века, на твой, по крайней мере, век, и, значит, с ней - только по-хорошему, потому что сила солону ломит и плетью обуха не перешибешь. А по ночам часами ловил те самые с легким акцентом голоса и слушал о тех, кто пытался, кто выходил на площадь, и ведь не верил, что можно что-то изменить. А сам все с теми в кошки-мышки пытался играть, за нос их водить, и иногда получалось, но ведь противно было донельзя, и они тоже нутром чуяли: что-то не так, хотя, в сущности, ты со своими невинными хитростями и фигой в кармане все равно был более человеком империи, чем они сами, лживые жрецы умирающей религии, а когда дожили, наконец, до эпохи относительно просвещенного абсолютизма, сознайся, был счастлив вполне. Так отчего же ты убежал? Не оттого ли, что так и не сбылась та утопия, химера, мечта юности с каплей уродства в прекрасном облике, когда просвещенный абсолютизм показал, наконец, вполне волчьи зубы и стало ясно, что уже никогда не сбудется и, значит, ничего не надо...

Снова голоса, опять проверка, но это уже немецкие пограничники, сверхвежливые, не заглядывающие в углы, не роющиеся в вещах. Скоро буду дома. Дома... А где дом? Там, где я - «чужой нации»? Так я и тут чужой. Вот в вагоне я был свой. Вот мой дом, плацкартный вагон, казенный дом, я твой навеки, и все, что было, лишь нескончаемый сон под перестук колес, шепот попутчиков, шум дождя. Проехали только Франкфурт, дорога еще дальняя, и ночь полна огня. Укройся получше, спи.

Дата Вашей последней поездки в Россию

(Путешествие в Москву и Петербург в 1994 году) **Ничего особенного. Москва в марте.**

Что дым этот сладок и приятен - не скажу, но привыкаешь мгновенно и глотаешь его, не морщась. Хотя всего только два часа гула и дремоты отделяют от нарядного дружелюбного столпотворения франкфуртского аэропорта. А тут - почетный караул цепью от самого трапа, из ничего возникающая томительная очередь, таможенник обхамил. Наперебой предлагающие подвезти в город неприкрыто агрессивны: откажешься - задирают, и сквозь шуточки злость. Вот странное создание: неухоженная девица со скуластым личиком лимитчицы, но в дорогой, до пят шубе. Два подвыпивших солдата. Впрочем, довольно озираться, все нормально. Шереметьево. Как говорилось некогда: «Пальмы, старик, -Россия...».

Рассказывают, что Вертинский, воротившись, пал ниц на перрон: «Не узнаю тебя, Русь!». Поднялся -чемоданов след простыл. - «Узнаю тебя, Русь...». Добрая традиция жива. Вот сосед по очереди на обмен валюты обернулся озабоченно: «Давайте я вам и поменяю, чтобы нам обоим не ждать». И я стал обладателем пачки кредиток, уже вышедших, как мне, лопуху, потом растолковали, из обращения.

Что же такое случилось наутро? Ах да, снег. Снегопад в середине марта - в Москве не такая уж редкость, но я-то за три последних года видел снег всего дважды. И каждый раз день этот был особенным. В первый раз нами же, казалось, и привезенный снег бесшумно ложился на по-апрельски яркую уже траву, укутывал цветущие магнолии и рододендроны. Тот день был первым в эмиграции. А во второй раз - недавно, под Рождество, проскочив благополучно по заснеженным автобанам полГермании, перед самой Прагой улетели с дороги на скорости, не оставлявшей шансов, но уцелели. И вот третий снегопад, да еще в Москве - что-то будет...

Но ничего особенного не происходило. Путчи да перевороты и в Москве не каждый день случаются. Штиль, разбор полетов. Одни в прострации после декабрьского поражения, другие празднуют февральскую победу. Взамен издавна привычной последовательности: «поиски виновных -наказание невиновных - награждение неспричастных», - осваивается новая: «амнистия виновных -награждение (посмертно) жертв амнистированных». Широкие массы заняты событиями поважнее: визит «Просто Марии» да женитьба Пугачевой на Киркорове.

Развернул одну из купленных в метро газет. «Известия». Первая полоса. Ну вот... «Сенсационное публичное заявление юриста... опротестовал свершившуюся акцию, считая ее незаконной... брак заключен не по месту жительства одного из супругов...». Что ж, юная российская демократия оттачивает процедурные тонкости. А история с отставкой генпрокурора - подумаешь, мелкое недоразумение в коридорах власти. На этой же странице действительно душераздирающая история о брошенных, порой даже проданных (четырёхлетнего Рому продали на сочинском вокзале за... тысячу рублей) детях. Цифры - мороз по коже: шестьдесят тысяч бездомных детей только в прошлом году. Более двухсот тысяч малолеток - преступники, и каждое шестое преступление - тяжкое...

Увы, в этот приезд возможности просто побродить по улицам не было. Но это было и не нужно: гляди по сторонам да прислушивайся, просмотри любую газету - не заскучаешь.

Над тяжело нагруженными лентами эскалаторов - бодрые голоса из громкоговорителей:

- Уважаемые господа! Приглашаем посетить наш рынок...

- Тьфу, да когда ж это господа на рынок по приглашениям-то ездили, - ворчит рядом старуха с колясочкой.

В колясочке - какие-то свертки. Множество людей вокруг снабжены такими весьма удобными для перевозки - чего? - колясками. Впереди одна дама возбужденно рассказывает другой жуткую историю о спившейся кинознаменитости, застрелившей собутыльника:

- Он схватил ружье и прямо за столом в упор... Теперь даже следователям его жалко... Ну как это ты не помнишь его? Юматов!

- «Офицеры»? Ой, правда, жалко...

А ведь и верно: жалко... Рухнула империя, спился кинорыцарь ее без страха и упрека, олицетворение верности и доблести. Верно, Эдичка, у нас была великая эпоха, и о чем, чертыхаясь в рекламных паузах, жалеет множество тех, кто все уже вроде бы понимал, а все ж безотказно смахивал слезу на этих самых «Офицерах», - о времени том или о себе, тогдашнем?

В переходе метро молодая супружеская пара вызывает к милосердию прохожих. Выглядят они как-то нетипично (московские нищие - отдельная тема). Юный отец сидит на корточках со спящим ребенком на руках, упрямо уставившись в пол. Заплаканная мать устало отбивается от нехотя навещающего порядок милиционера - что у них стряслось? Но толпа уносит меня дальше, мимо моря разлитого на любой вкуч книг и газет на многочисленных лотках, вниз и дальше, на другую линию.

Дочитаем «Известия». Из Санкт-Петербурга сообщают: здесь обвиняется в убийстве группа членов Русской партии во главе с председателем местного ее отделения, баллотирующимся, кстати, и в городское собрание. Есть и такая партия. Что в программе? Вот цитаты: «Глобальная задача... - создание единого расового пространства от Атлантики и до Тихого океана... Почему бы не сделать резервации для якутов и узбеков? А в Биробиджане будет национальный парк для евреев, туда на экскурсии будут ездить наши дети - смотреть». Ясно...

Вышел на заснеженную улицу и, подивившись ухоженности фасадов магазинов и офисов (а ведь помню, как тут все выглядело), свернул на тихий бульвар, где полностью отсутствовали приметы времени: таким точно был этот бульвар и в восьмидесятые, и в семидесятые. «Шли по Палихе, по Лесной, потом свернули на Миусы. А там уж снег пошел сплошной, он начал городить турысы и даже застил свет дневной...». И тут сквозь ровный хруст снега, ушам своим не веря, - какой сейчас год, да и кто это еще помнит? - услышал:

Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот
и кончается наш короткий ночлег. Снег, снег, снег,
снег... Милая, что тебе снится? По берегам
замерзающих рек - снег, снег, снег...

Столько лет прошло, и снова я на заснеженном московском бульваре, и не мне уже, а какому-то худощавому парню, опустив голову на плечо, напевает рыжая московская школьница слова, что, казалось, канули в Лету вместе с глупой восторженной нашей юностью. Или это было в Ленинграде?

Над Петроградской твоей стороной кружится легкий снежок.
Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет снежинкой у ног...

И в ответ на вопросительные их взгляды я, растерявшись, вдруг неожиданно для самого себя спросил - точно герой старой пьесы, что в привокзальном ресторане все пытался вспомнить какую-то песню:

- А эту знаете: «Перевесь подальше ключи...»?
- Конечно, - повела плечом.
И продолжила:

Адрес поменяй, поменяй.
А теперь давай помолчим.
Это - для меня...

И, улыбнувшись, потащила своего кавалера дальше по аллее, мимо чахлах, в снегу, зарослей, напевая: «Не гляди назад, не гляди...». Мистика какая-то.

Снова метро. «Московский комсомолец» возвращает меня в день сегодняшний. Лидер Партии экономической свободы Константин Боровой чудом остался жив после покушения. Новый рост цен на продукты. Расстрел в офисе. Изнасилование на кладбище. Налет на поезд «Тбилиси - Москва». Вооруженный налет на церковь. В недавние морозы на улицах Москвы замерзло 14 человек. Задержана банда в составе: следователь, оперуполномоченный УВД, прапорщик и подполковник подмосковной воинской части...

Выйдя из метро, остановился у книжного лотка с «божественными изданиями». Вот она, давняя мечта - «Толковая Библия», бери - не хочу, а вон там, на соседнем столике, - Пруст, Хайдеггер, Борхес...

- Брат! - раздается за спиной тонкий плачущий голос.

Я обернулся. Два подвыпивших солдата. Где-то я их уже видел... Один темноволосый, с обиженным круглым лицом. Другой - он и вещает сейчас, ни к кому, впрочем, специально не обращаясь, - с льяными кудряшками, цыплячьей шеей, нелепо торчащей из воротника шинели, голубыми слезящимися глазами.

- Брат, мы завтра умрем! За тебя, за твое счастье... Что ж вы...

- Дальше следует поток нецензурной брани. Кончайте ругаться, ребята, тут иконы лежат... - увещевает бородатый продавец. - С чего это вы умирать собрались?

- Мы завтра едем в Таджикистан! Нас завтра отправляют... И мы там умрем! А этот (непечатный текст) гитару не дает поиграть...

Он рыдает. Кто-то их обидел, не уважил просьбы, некому их утешить. Ну вот, рядом уже:

- Милицию позвать надо...

- Дурни вы, дурни, что ж это вы тут ругаетесь, да пошли бы в храм, свечку бы поставили, тут же недалеко, я вам покажу, и все обойдется, вот у видите, пойдете, мальчики, а то ругаются...

И какая-то женщина уводит парней и тараторит успокаивающе.

Они неожиданно покорно потопали за ней и растворились в толпе. А мне уже пора. Чем же закончить? Оглянулся по сторонам. Рядом - лоток с книгами. И в глаза бросилось название одной из них: «За пределами мозга».

Петербургский калейдоскоп. 1994 г.

Вылетел из Берлина после праздничной ночи. Ровно четыре года назад, в полночь, наступило окончательное юридическое воссоединение Германии. Непривычно пустынные улицы, ныне густо украшенные предвыборной «наглядной агитацией». Послепраздничное утро, отрезвляющее, как и все послепраздничное четырехлетие. Хотя, конечно же, неоспоримы и достижения. О них напоминает с выхватываемых из темноты светом фар плакатов «самый успешный канцлер всех времен». Знакомый еще по отечественному агитпропу указующий жест. Предостерегающий призыв: «Речь идет о Германии!». Предостерегает не зря: рядом - молодежавый претендент с лихо переброшенной через плечо курткой, белозубой улыбкой и своим лозунгом: «Kanzler wechsell!» - «Смена канцлера». Местные проказники изошряются в уродовании плакатов. Красавцу претенденту испортили ослепительную улыбку, закрасив черным один зуб, отчего претендент приобрел вид комически разбойный, и дописали слово «jahre», сделав его лозунг просто неприличным: «Wechseljahre» означает известный возрастной период...

Не пощадили и нынешнего канцлера: указующий в светлое будущее объединенной нации жест плохо сочетается с пририсованными черными очками слепца. Вольготно здесь проказникам. Помнится, был в

годы моего детства показательный суд над двумя несчастными, разукрасившими спяну портреты передовиков на городской площади. Первый был режиссером в местном театре, а второй - художником, те самые портреты, кстати, и рисовавшим. Потому пожалели их: прокурор настаивал на «антисоветской провокации», ограничились же «злостным хулиганством». Режиссер получил три года исправительно-трудовой, а художник - пять лет строгого режима. Время было либеральное: оттепель...

Последнее воспоминание логично совпало с высадкой в ленинградском, пардон, Санкт-Петербургском «Пулково-2». Я писал уже о неперменном почетном карауле от самого трапа при высадке на территорию одной шестой суши. Надо полагать, пограничное оцепление задумано, чтобы прибывшие бундесбюргеры не разбежались вдруг врассыпную, увеча встреченных и побросав сумки, в поисках политического убежища.

Ну вот, «Ты вернулся сюда, так глотай же скорей...». Но пока мы еще только едем из Пулково. Первые впечатления: автомобилей в городе еще прибавилось. Улицы, в общем-то, те же. Отсюда пробки, из которых выбираются, отчаянно прессингуя, обгоняя слева и справа без всяких сигналов, благо и разметки-то нет никакой; захочешь ездить «по правилам», доедешь не скоро. Вот два «гаишника» за поворотом. Остановили. Разговор привожу дословно:

- Вы проехали на красный свет. Ваши права!
- Пожалуйста... Но как же я мог на красный, я ведь и у светофора не первый-то стоял.
- Пререкаетесь? Я вынужден задержать права.
- Скажите, а нельзя ли вопрос на месте решить?..
- Десять тысяч...
- Десять - правда, много. Нельзя ли пять?
- Ну ладно... (шелест купюр). Проезжайте.

Интересно, смог бы я сейчас тут ездить? Вопрос, впрочем, праздный. Командировавшие меня в Петербург наивно предлагали ехать на автомобиле. Пришлось развлечь их мартовской еще историей. Мой знакомый, рискнувший появиться в Петербурге на «фольксвагене» с германскими номерами, позвонил мне в гостиницу' откуда-то из пригорода: четыре «восьмерки» окружили среди бела дня его машину в самом людном месте Васильевского острова, на глазах у всех, вытащив из кабины, посадили рядом, и вся кавалькада умчалась за город, где он расстался уже и с документами на машину, и с деньгами. Надо объективности ради заметить: практически и не били...

Вот я и въехал не только в город, знакомый до слез и прожилков, но и в первую тему этого репортажа. «Восьмерка» у них - рабочая машина. Для повседневного выезда используются «БМВ». Изредка - «мерседес». Увидел как-то на Невском: бестрепетно въехав на тротуар, причалил сверкающий «пятисотый»; из него неторопливо выбралась замечательная компания и, глядя сквозь предупредительно расступающуюся толпу, вразвалочку прошествовала в здание «пассажа». Внешний вид этих ребят строго традиционен: волосы на затылке и висках выстрижены, белые носки, мягкие по сезону пальто. Радиотелефоны, каких у милиции, уверен, пока нет.

Наутро мой друг получал товар по договору с некоей фирмой, и я стал свидетелем замечательного диалога между ним и водителем словно по вызову примчавшейся «восьмерки»:

- Здравствуйте, мы - бандиты... (Клянусь: он именно так и сказал - просто и без малейшей аффектации, как сказали бы: «Мы - маляры...») Будете платить? Что значит «денег нет»? Вот у вас тут восемь мешков, так оставьте три. Ну что? Милицию будете вызывать?

И продиктовал кому-то по радиотелефону номер нашего автобусика. Значит, где-то по дороге нас остановят. Деловой такой мальчик, спортивный, по виду - ровесник моей дочери. Тут друг мой опомнился и, отведя юного джентльмена удачи в сторону, принялся что-то ему втолковывать. Потом они куда-то звонили.

- Ты поезжай, а нам все равно ждать. Не волнуйся, я все уладил: ОНИ сейчас приедут. Дома все расскажу, - пообещал мой друг.

Я сразу догадался, что ОНИ - ангелы-хранители. Такие же, вероятно, бандиты. Оказалось - не совсем так. То есть в том, что они тоже бандиты, друг мой не сомневался. Но они все - «оттуда» (неопределенный жест, некогда означавший указание на известное всем в городе здание).

- Бывшие... (хотя - кто знает...). Платить им приходится тоже более чем порядочно. Но они же - гуманоиды по крайней мере. С ними можно как-то договориться. Если дела совсем плохи и денег нет, они согласны подождать. Те же, кого оберегают бандиты, так сказать, обычные, роскоши такого общения лишены начисто. Помнишь Михалыча? Магазин на Староневском открыл. А недавно застрелили его. Утром, он как раз с двумя своими догами прогуляться вышел. Вот так и живем. А что делать? Если бы с «наличкой» не работать, не страшны чужие бандиты и не нужны «свои». Но как же без нее? По закону не получается: вылетишь в трубу с нашими налогами мгновенно. Поэтому никто из нас никогда милицию не вызовет. Я бы с удовольствием работал под контролем государства. Но оно же у нас покруче этих...

О преступности менее организованной. Прозаический грабеж. Зато прямо на дому. Поздно вечером - звонок в дверь: «Телеграмма!». Более чем банально, но, вероятно, потому жена и открыла. Рассказчик - я знаю его много лет - человек совсем не богатый, с чего они взяли? Однако «наехали». Двум успел врезать, но их было пятеро. Жену затащили в ванную и пообещали такое, что спорить с ними не стали. Собственно, денег в доме было тысяч двести, за этим ли ломились? Но они, уходя, даже флаконы с шампунем из ванной прихватили. Шпана. В сущности - легко отделались...

«Смена»: «Работа на питерском телевидении опасна для здоровья. В интервью агентству «Франс Пресс» первый заместитель председателя ГТРК «Петербург - 5-й канал» Виктор Правдюк охарактеризовал нападения на Беллу Куркову и Владислава Нечаева как «политический террор» ... ».

«Час пик»: «За 9 месяцев года в Петербурге - 212 изнасилований».

«Смена»: «В лифте одного из домов по Богатырскому проспекту неизвестный преступник совершил нападение на восьмилетнего мальчика. Нелюдь вырезал ему промежность и вырвал кишечник... Маньяк все еще разгуливает на свободе».

Устали? У меня у самого от всего этого - голова кругом. Отправимся, наконец, на Невский. Добирался я туда с Финляндского вокзала. Здесь все, как прежде. И станция метро по-прежнему «Площадь Ленина». И сам он на броневике и всегда живой. Тут же газету купил странную: «Вечерний Ленинград», с «пролетариями всех стран», ленинской цитатой, призывом: «Вся власть - стачкомам!» (а рядом продаются «Вечерний Петербург» и книга «Интимная жизнь Ленина»).

Пересаживаюсь на «Площади восстания» (Ордена Ленина Петербургского метрополитена имени Ленина), пробегая к платформе мимо Ильича, сидящего на пне по-оперному, труакар, надо полагать, в Разливе (тому барельефу цены нет, куда там эпигонам соцарта). Вот здесь, на этой самой станции, лет десять назад меня арестовал по дороге на работу некий пенсионер, чей зоркий взгляд общественника еще в вагоне впился в раскрытую на моих коленях книгу. То была «Иудейская война» Фейхтвангера - том из собрания сочинений, взятый в профсоюзной библиотеке. Выйдя за мной на платформу, ветеран вдруг с удивительной для тщедушного на вид тела силой вцепился в меня (я сразу вспомнил у Ильфа: «железные пальцы идиота»), а милиционер появился рядом, словно нас тут ждали. Потом я сидел в каком-то служебном помещении метро, с интересом разглядывая многочисленные телеэкраны и слыша за спиной свистящий шепот пенсионера, с жаром втолковывающего милиционеру: «...сионистская какая-то... евреи там... Иерусалим...». Тот слушал, сосредоточенно кивая. Затем, отпустив энтузиаста, принялся куда-то звонить. Зачитывал название книги, с трудом и видимым отвращением продиктовал фамилию автора, отыскал на последней странице издательство... Я с любопытством ожидал финала. Беспокоило меня опоздание на работу: в нашем «ящике» с этим было строго. Наконец, с другого конца провода поступило разрешение отпустить меня с миром.

- Но ведь я опоздал на работу. Дайте какую-то справку, что ли...

Милиционер явно растерялся. Затем снова позвонил знатокам литературы и, с нотками злорадства в голосе, посоветовал:

- Вы уж там придумайте что-нибудь сами. Можно и справку, только вряд ли, сказали, такая справка вам на пользу пойдет...

Удивительное дело: иду, погрузившись в воспоминания, по Невскому, будто не вчера прилетел, а вообще не уезжал. К Играм доброй воли проспект, как и весь центр города, почистили, подкрасили фасады, и выглядит Невский точно так же, как десять лет назад, когда поведали нам о дерзком авиалайнере, упрямо «продолжавшем полет в сторону моря». Нет, это еще не Петербург, но и не тот, прежний Ленинград. Над свежескрашенным зданием Думы все еще витает дух матроса Железняк, но сняты леса со Спаса на крови, а взамен былых кумиров с огромных плакатов непедагогично щурится прославленный мальчик Сидоров, рекламирующий напиток «Хиро» - новое слово на букву «х». Все те же бабушки у дверей магазина «Мясо-птица».

- Бабушки, за чем очередь? Неужели мяса-птицы не будет?

- Да будет, сыночек, весь день будет.

- А зачем же с утра стоите?

- А такого выбора не будет...

Да, это не девяностый год - в магазинах все есть. Но вот что интересно: на крыльце магазина французской косметики, как и когда-то, - дамочки, торгующие тем, что внутри. Раньше мне было ясно: покупали из-за гигантской очереди в магазин. А сейчас-то? Дамочки охотно растолковали: сейчас у них - дешевле...

Посмотрев на ярлыки с ценами в соседнем фирменном магазине, присвистнул: да, по этой части опять впереди планеты всей. Впрочем, в ценах разброс небывалый. Хлеб, молоко, картошка сравнительно дешевы. Сравнительно. Потому что на многое другое - вполне по-гамбургски.

Не хлебом единым, однако, жив человек. Вот как раз поворот на Пушкинскую, пойдете к знаменитому дому номер десять. Неформальный центр художественной жизни города и выглядит более чем неформально. Гигантское здание, ждущее капитального ремонта еще со времен расцвета застоя. В годы перестройки дом расселили, а сейчас там обитают и театр Понизовского, и редакция журнала «Баламут», и мастерские фонда «Свободная культура», и рок-группа ДДТ, и Академия изящных искусств, и просто художники, которым негде жить и работать. Порой здесь отключают воду, зимой - отопление. Иногда гаснет свет. Но бастион авангардного искусства не сдается. Пройдемся по лестничным пролетам этого удивительного дома. Каждая лестничная площадка, каждый пролет могли бы занять достойное место на самой представительной выставке нонконформистского искусства. Не берусь описать эти удивительные инсталляции. Ну, например, эта: «Чайник как образ мыслей. Выставка-продажа». Или эта: «Чайник моей души. Желающие могут приобрести в квартире номер...». Из надписей на стенах запомнились такие: «Французская народная песня: «Нам хорошо с тобой втроем» и «Был ли Буратино евреем - вот в чем вопрос. Гамлет».

О громких баталиях вокруг этого дома рассказывают все по-разному. Но одно не вызывает сомнений: художникам нечем платить за аренду и некуда выехать. Я побывал в одной из таких квартир. Там как раз находились два покупателя из США. Восхищенно переглянувшись (а картины были в самом деле замечательные), они предложили за них ничтожнейшие суммы. Я не сразу сообразил, что речь-то шла, оказывается, не о долларах, а даже о рублях. Да что говорить... Вот известнейший прозаик и эссеист, публиковавшийся ранее лишь в самиздате и на Западе, констатирует: сейчас, публикуемый и знаменитый, он зарабатывает едва ли больше, чем некогда в кочегарке. Издатели из Русского христианского гуманитарного института, выпустившие в свет уже множество ценнейших книг, удивились, когда я спросил о зарплате: они никогда ее не получали... Грустно, господа.

Последний вечер в Питере. За окном - задворки Северной Пальмиры. Темнеет, и не хочется включать свет.

«Люби проездом родину друзей...»

А ведь судя по географии места, где-то здесь он и бродил четверть века назад - гражданин второсортной эпохи, городской сумасшедший, будущий нобелевский лауреат, чей трехтомник я сегодня легко купил на Невском, а тогда, живя еще «в провинции у моря», перепечатывал тайком ходившие по рукам строки. Ими и закончу:

Я сижу в темноте. Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь. И уже не буду.

Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою. Порой отплунусь.

Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.

1994 г.